

1383 677

Вып. № 49.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДЖЕМС М. БАРРИ
SIR JAMES BARRIE

— род. 1860 —

БЕЛАЯ ПТИЧКА

П Е Р Е В О Д
А. ДАМАНСКОЙ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
И С ПРЕДИСЛОВИЕМ
П. К. ГУБ Е Р А.



400/1

П Е Т Е Р Б У Р Г
— 1922 —

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
Государственное Издательство.

1-111



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Джемс Мэтью Барри принадлежит к числу наиболее любимых и усердно читаемых писателей современной Англии. Особенно велика его известность в средних и зажиточных слоях общества. Его книги расходятся в сотнях тысяч экземпляров и в английских колониях, а также в Америке находят не меньше читателей, нежели в самой Англии. Его пьесы целые годы под ряд удерживаются на сцене и идут почти без перерыва. Питеру Пэну—одному из сказочных героев Барри—даже воздвигнут памятник в самом средоточии Лондона, в одном из оживленнейших общественных парков.

Отсюда, впрочем, не следует, чтобы Барри был писателем гениальным, способным выдерживать сравнение с Шекспиром или Байроном, с Диккенсом или Карлейлем, или даже хотя бы с некоторыми другими, менее прославленными, но все же, несомненно, крупными представителями старой английской литературы. Отнюдь нет. Этого не решаются утверждать даже самые горячие поклонники таланта Барри. Когда им хочется разбудить в себе серьезную мысль

Р. Ц. Петроград. Печ. 3.500 экз.

26-я Госуд. тип. Измайловский пр., д. 29.

или пережить высокое художественное наслаждение, они обращаются совсем к другим авторам и к иным книгам. Но когда, в исходе дня, наполненного скучными житейскими делами, ими овладевает охота освежить утомленный мозг легким, занимательным чтением, они раскрывают какой-либо роман Барри или один из сборников его рассказов. И почти никогда ожидания их не бывают обмануты. Барри умеет и насмешить, и растрогать, и прочесть к стати нравоучение. Он ни в коем случае не утомит читателя, не потребует от него усиленного внимания, не смутит и не испугает беспощадной суровостью речи и жестокой, неприкрытой правдой рисуемых картин.

В английской литературе Барри выступает уже давно и находится в настоящее время в довольно преклонных летах. Он родился в 1860 г. в захолустной и тихой шотландской деревушке, где и протекли его детские и отроческие годы. Впоследствии он много раз описывал эту деревушку и ее обитателей на страницах своих повестей и романов. Рассказывают, что земляки Барри были не особенно польщены, найдя свои портреты в книге, сразу обратившей на себя внимание. Нам несколько трудно понять их раздражение. В юморе Барри так мало злости и так много скрытой, но горячей любви, что совершенно невозможно представить себе, как могла подобная насмешка по-

служить поводом для обиды. Но, очевидно, степенные и чопорные шотландские провинциалы рассуждали иначе.

Учился Барри в гимназии Дэмфрей и, затем, в Эдинбургском университете, самом древнем и самом почтенном из университетов Шотландии. Еще не окончив курса, он начал испытывать свои силы на литературном поприще. Его мать была великая мастерица рассказывать сказки. Она не только хранила в памяти бесконечное множество их, но даже сама умела сочинять новые сказки. Юный Барри пытался подражать ей. Однако, первым его произведением, о котором нам кое-что известно, была не сказка, а большой роман в трех томах, написанный во время пребывания в школе. Роман был повергнут на рассмотрение некоего эдинбургского издателя, который счел его произведением талантливой молодой барышни и предложил выпустить книгу в свет, уплатив, в виде гонорара, довольно крупную для начинающего автора сумму в 100 фунтов стерлингов (свыше тысячи рублей). Но Барри отказался. Надо полагать, ошибка издателя больно уязвила его самолюбие.

После 1881 года Барри начинает, заработка ради, сотрудничать в эдинбургских, а потом и в лондонских газетах и еженедельных журналах. Изю дня в день пишет он очерки, наброски, коротенькие рассказы, статьи с под-

писью и без подписи. Нелегко было выдвинуться ему, потому что число талантливых молодых людей, стремящихся к завоеванию литературной славы, весьма велико в Англии. Это было суровое время, и Барри не раз стоял на пороге нужды. Зато он хорошо изучил газетную среду. В одной из своих позднейших книг он весьма живо и остроумно описал быт и нравы репортеров и прочей мелкой газетной сошки, рассказал об их успехах и неудачах и о тех забавных хитростях, на которые они пускаются в погоне за самыми свежими, самыми животрепещущими новостями.

Наконец, один проницательный редактор обратил внимание на Барри. Теперь таланту его предоставлено было больше простора. Его первая книга появилась в свет и весьма сочувственно была встречена критикой. Затем последовали другие книги. Некоторые из его повестей оказались пригодными для сценической переделки, и, таким образом, Барри стал драматургом. Впоследствии он начал писать уже непосредственно для сцены. Одна из первых его пьес сочинена была в сотрудничестве с Артуром Конан-Дойлем, автором Шерлока Холмса.

К середине девяностых годов литературная физиономия Барри окончательно определилась. Он успел проявить себя в полной мере своих сил. Начиная с этой поры, мы уже имеем до-

статочно данных для его всесторонней характеристики.

О чем же рассказывает Барри в своих сочинениях?

Преимущественно о совсем обыкновенных событиях, о маленьких радостях и маленьких огорчениях заурядных, ничем особенным не отмеченных, людей. Иногда действие происходит в деревне, на лоне мирной природы; иногда Барри приводит нас в шумный, суетливый Лондон наших дней. Но и здесь, следуя за ним, мы попадаем не в парламент, не на бурный митинг безработных, не на фабрику и не в ночлежный дом, а в уютную гостиную, на оживленный бульвар или же, всего чаще, в такие места, где любят появляться дети.

Печатаемый ниже роман Барри „Белая Птичка“ всего лучше может познакомить читателя с этим автором. Здесь как нельзя более отчетливо заметны все—и сильные и слабые—стороны таланта Барри.

„Белая птичка“—это повесть о трогательной любви одинокого старого холостяка к чужому ребенку. Замысел романа весьма удачен, и потому книжка с неослабевающим интересом дочитывается до конца. Но порою читатель испытывает желание заметить, что автор выводит перед ним уж слишком добродетельных героев. В самом деле: среди действующих лиц нет ни одного не то, что дурного, а просто

не слишком хорошего человека. Сам же капитан В., от лица которого ведется рассказ, до такой степени добр, благороден, нежен и любвеобилен, что его можно живым отправить на небо. Невинная привычка во что бы то ни стало надевать маску холодного и черствого себялюбца составляет его единственный недостаток. Но капитан весьма неискусный притворщик. Все сразу видят, какая ангельская душа скрывается под этой суровой внешностью, и тем сильнее любят его.

К сожалению, мы слишком хорошо знаем, что в действительной жизни так почти никогда не бывает. В жизни добро неизменно выступает смешанное со злом. А если и встречаются порою безукоризненно честные и добрые люди, то им почти всегда приходится вести напряженную борьбу и переживать тяжелые страдания именно потому, что они выше и лучше окружающих.

Сказанного было бы достаточно, еслиб Барри был писателем исключительно для взрослых. Но он вместе с тем писатель и для детей. И в этом самая своеобразная и самая привлекательная особенность его творчества.

Англия вообще чрезвычайно богата превосходными детскими книгами. В этой стране, где все с такою готовностью уступают ребенку первое место, где маленькое, беспомощное дитя может с полнейшей безопасностью пе-

рейти через оживленную улицу, потому что неистово мчащиеся автомобили и тяжеловесные омнибусы останавливаются на месте, как вкопанные, чтобы дать дорогу крохотному существу,—в этой стране литература в течение целого столетия посвящала детям свои лучшие страницы, и Барри, в качестве детского писателя, имел много знаменитых соперников. Он с честью вышел из испытания. Каждый английский школьник знает Барри—«старого джентльмена который рассказал историю Питера Пэна».

Успех у подобной публики тоже чего-нибудь да стоит. Во всяком случае, он не менее драгоценен, нежели успех у взрослых читателей.

В общую ткань рассказа о „Белой птичке“ весьма искусно вплетены несколько сказок, не имеющих прямого отношения к повествованию. Это сказки о феях и эльфах, обитающих в Кенсингтонском парке, огромном общественном саду, куда стекаются для игр и прогулок дети целой половины Лондона.

Как отнестись к этим сказкам? Ведь мы не можем верить в существование фей, да и сам Барри, конечно, не верит в свои чудесные выдумки. Для чего же, в таком случае, он ввел хороводы фей в роман, на страницах которого говорится об омнибусах и о завтраках в клубе?

Для такого, на первый взгляд неестественного смешения у Барри имеются свои достаточно серьезные основания. Душевный мир

ребенка не похож на наш собственный душевный мир. Ребенок воспринимает жизнь по своему, преобразует ее работой воображения, предписывает ей свои законы, передвигает на свой лад границы возможного и невозможного. И для ребенка нет ничего более правдоподобного, нежели существование фей и других созданий той же породы. Ведь он слышал о них с самой ранней поры младенчества, и иногда ему кажется, что он может видеть их собственными глазами.

И вот, рисуя нам душевную жизнь маленького Давида, писатель с полным правом вводит сказки о феях в ткань романа. По правде говоря, страницы, посвященные этим сказкам, представляют собой лучшую часть книги. В этом нет ничего удивительного. Здесь, в миниатюрных пределах феинго царства, Барри чувствует себя, как в своей родной стихии. Некоторая ограниченность кругозора, мешающая ему видеть и изображать действительную жизнь во всем разнообразии ее явлений как веселых, так и печальных, как возвышенных, так и низменных, перестает вредить ему. Романист отходит в сторону и уступает место сказочнику. А быть сказочником, собирающим вокруг себя толпу детворы, вот в чем, по видимому, истинное призвание Барри.

П. Губер.

БЕЛАЯ ПТИЧКА.

I.

Мы с Давидом отправляемся в путешествие.

Маленький мальчик, зовущий меня отцом, передает мне иногда приглашение от своей матери:

— Приходите, буду вам очень рада.

И я неизменно отвечаю:

— Сударыня, я вынужден отклонить ваше приглашение.

И если Давид спрашивает меня, отчего я отказываюсь, я объясняю ему, что у меня нет никакой охоты встречаться с этой женщиной.

— Приходите, папа,—убеждал он меня недавно,—сегодня день ее рождения... Ей исполнилось уже двадцать шесть лет...

Возраст этот, видимо, кажется Давиду весьма преклонным. Он полагает, очевидно, что мать его долго не протянет.

— Двадцать шесть лет?—удивился я.—Передай, что по моему она выглядит гораздо старше.

Этой ночью мне снился чудесный сон, будто и мне тоже двадцать шесть лет,—что в действительности было очень давно—и я еду по железной дороге в какое-то место, где находится мой

родной дом (на яву я никакого дома не вижу...). На станции меня ждет близкая мне любимая женщина, и мы вместе направляемся к себе домой. Она встретила меня без восторженного волнения, и я тоже ничуть не удивился, увидав ее, словно мы давно уже были мужем и женой и расставались всего на один день. Я даже дал ей нести один из пакетов.

Если бы я рассказал мой восхитительный сон матери Давида, с которой я за всю мою жизнь не сказал ни одного слова, она бы опустила и затем тотчас вскинула голову и дала бы мне, таким образом, понять, что опечалена и горда тем, что я поведал ей... И поспешила бы, пожалуй, протянуть мне свой нелепый, маленький карманный платочек... Если бы у меня хватило духу, я не мало изумил бы ее, сказав, что женщина, которую я видел во сне, вовсе не была похожа на нее...

Приходилось ли вам, читатель, когда-либо подвергаться настойчивому вниманию со стороны хорошенькой женщины, воображающей, без всякого основания, что вы изнываете от безнадежной любви к ней? Меня вот уже несколько лет преследует своим непрошеным сочувствием сардобольная и добродетельная Мэри А.

Когда мы встречаемся на улице, это бедное, заблуждающееся создание замедляет походку—словно ей совестно проходить со счастливым

видом пред человеком, сердце которого она разбила... Шелест ее платья звучит тогда, как тихие слова утешения, и руки ее похожи на нежные крылья, которым очень хочется, чтоб я был маленьким беспомощным мальчиком, подобно Давиду... Я улавливаю в ней также и боязливую надменность, но уже когда она проходит мимо, и что-то вроде вызова мнится в ее гримаске...

Глаза говорят: вы не смеете.

Нос: отчего бы вам не попытаться...

И рот: я бы даже хотела, чтобы вы...

Вот портрет Мэри А. при наших встречах с нею на улице.

Однажды она решилась заговорить со мною, и могла потом похвастаться перед Давидом, будто я беседовал с нею... Это было в Кенсингтонском парке *). Она спросила меня, который час, как спрашивают дети, чтобы забыть об этом, прежде чем они успеют добежать до своей няни... Но так как я этого ждал от нее, то, приподняв шляпу, тростью указал ей на башенные часы вдали. Это ее как будто уязвило, но едва я отошел от нее—я, к немалой моей досаде, услышал ее смех.

Она смеется так же, как Давид, которого я

*) Общественный сад в Лондоне, особенно посещаемый детьми.

готов потешать целый день, чтобы слушать его смех. Она вложила в мальчика свой смех. И другие черты свои передала она ему, с первого дня своего знакомства с ним, отделявала и шлифовала его, но так искусно, что его до сих пор можно принять за дитя природы. Стоит только выпустить его руку, и он срывается, как стрела с тетивы... Нельзя глядеть в его глаза, не думая о птицах, и с трудом верится, что он ходит гулять в Кенсингтонский парк... Кажется, что он сюда прилетает, и если бы я стал разбрасывать крошки хлеба, он бы начал их клевать. Но по природе своей он не таков; таким сделала его эта робкая на вид дама, которая притворяется, будто она сама изумлена, что у нее такой сын. В течение дня можно наблюдать его в сотне изящных поз. Когда он споткнется, что с ним случается довольно часто, он растягивается на земле, как греческий бог. Так угодно Мэри А... Но как она тревожится о том, чтобы все в нем было совершенством... Я видел однажды, как он карабкался на дерево, а она стояла под деревом и с невыразимым ужасом смотрела на него... Она не запретила ему лезть на дерево, потому что мальчики должны быть храбры... Но я уверен—в те минуты, когда она следила за ним, она сама падала с каждой ветки...

Давид от нее в восторге. Он считает ее такой хорошей, что, по его убеждению, она всегда смо-

жет исходатайствовать для него место в раю, сколько бы они ни напугали... Иначе он не грешил бы с таким легким сердцем. Она, вероятно, заметила это: он рассказал мне, что, по ее словам, она вовсе не так мила, как он думает.

— А я так в этом и не сомневаюсь,—сказал я.

— В самом деле? Она такая хорошая, как вы думаете?—спросил он.

— Да поможет ей Бог...—ответил я,—если она не лучше, нежели я о ней думаю.

Да поможет Бог всем матерям не вполне хорошим. Ибо им нельзя скрыть этого в тот короткий и странный час в конце дня, когда мать словно раскрывается до конца перед своим ребенком... Этот странный час наступает обыкновенно между шестью и семью часами вечера... Если дети ложатся позднее, им уже недоступно это откровение... Ребенок, укрытый одеялом, тихо лежит в своей кровати и большими загадочными глазами смотрит на вас, сударыня. Он подводит итог вашему дню. Вас уже не может спасти то, что сблизало и вместе отчуждало вас друг от друга в часы суетного дня... Теперь час вашего сына, и вы должны предстать пред его судом.

— Хорошо ли я вела себя сегодня, сын мой?

Вы должны сказать это, и ничто не может вас спасти, ибо он знает все. Как схож в эти

минуты голос матери с голосом сына, только трепетнее, торжественнее звучит, непохоже на ее дневной голос...

— Ты была не совсем справедлива... знаешь... с этим яблоком...

Стой, женщина, у кровати, скрести руки и отвечай:

— Правда, сын мой, правда... я думала...

Но что бы вы ни думали, ничто не смягчит приговора...

— А хорошо это было, мама... Позволила гулять до шести... А потом—зачем опоздал?... А я вернулся, когда еще шести не было...

— Нет, это было очень нехорошо... я думала...

— Назвала бы ты это ложью, если бы я сказал, будто уже ровно шесть?

— О, мальчик мой, мальчик мой, я никогда больше лгать не буду...

— Да, мама... Пожалуйста

— Мальчик мой, ну... а... а вообще—я была хорошая сегодня?

Представьте себе, что на этот вопрос сын ваш не мог бы ответить «да»?..

Вы должны повиниться в мельчайших своих прегрешениях. Это дело не шуточное—нарушить договор, подписываемый при рождении ребенка... Есть матери, убегающие от своих детей в вечерний час, но это их от суда не спасает... От-

чего столько матерей не хотят оставаться наедине со своими мыслями между шестью и семью часами пополудни? Я не о вас говорю, Мэри. Я уверен, что когда вы тихо закрываете за собой дверь в комнату Давида, глаза ваши светятся радостью и благостным сознанием, что Бог, к которому маленькие мальчики обращаются со своими молитвами, очень похож на их матерей...

Должен упомянуть, что Давид крепко верит в силу молитвы. Однажды у него была схватка с другим юным христианином, который вызвал его на бой, помолившись предварительно о даровании ему победы... Давид нашел, что его противник пользуется преимуществом, недозволенным правилами борьбы.

* * *

— Итак: двадцать шесть лет исполнилось Мэри... Старится твоя мать, Давид... Передай ей, что я приду и поцелую ее, когда ей исполнится пятьдесят два.

Он передал, и я понял из его слов, что она была возмущена. Теперь, когда я встречаю ее на улице, она надувает губки. Видимо, готовится к объяснению... Она сказала также, как я слышал, что вряд ли я буду интересоваться ею, когда ей будет пятьдесят два года... Очевидно, подразумевая под этим, что тогда она не будет уже так красива, как теперь... Как мало женщины смыслят

в красоте!.. Несомненно, что умная, старая дама есть самое красивое существо в мире. И должен сознаться, меня всегда влекло не к молодым, а к таким вот, старым женщинам... Я чуть было не влюбился однажды в одну молоденькую девушку, но вдруг понял, что мне больше нравится ее мать... Я не могу смотреть на молодое женское лицо, не заглядывая нетерпеливо в будущее, и не представляя себе это лицо в пятидесят два года...

О, загадочные, юные девушки, когда вам будет пятьдесят два года, мы разгадаем вас... Тогда вы будете для нас открытыми книгами... Ваша, если все недостатки, которые искусно скрывала ваша молодость, выступят тогда наружу. Но и глубокие мысли, и благородные поступки, и нежные сокровенные чувства оставят следы на вашем лице, будут цвести в сумерках вашей жизни, как цветы, распускающиеся лишь с заходом солнца...

Но... не странно ли? После всего, что я говорю Давиду о его матери, он тем не менее убежден, что я люблю ее... Этакой тупица! И я резко говорю ему:

— Ты слишком похож на свою мать, мальчик.
На что Давид отвечает мне:

— Потому вы ласковы со мною?

Да... ласков... Но вовсе не из любви к матери, а потому, что он иногда зовет меня отцом.

Клянусь честью солдата—только поэтому... Я не хочу, чтобы он это знал, ибо тогда он станет звать меня отцом намеренно, и это отнимет всю прелесть у нашей дружбы... Чаше всего, я для него просто капитан Б. Отцом он зовет меня, когда очень торопится и рассеян... Я, с своей стороны, никогда не прошу его называть меня по имени. Он говорит с жестокой, очаровательной беззаботностью: «Пойдем, отец»...

Пускай это продолжается возможно дольше, Давид.

При посторонних, в магазинах, например, это доставляет мне сутубое удовольствие. Когда Давид расспрашивает приказчика, сколько он денег выручает за день и куда он их прячет, и отчего у него рыжие волосы, и любит ли он Ахиллеса, о котором Давид сам недавно узнал и так им увлечен, что готов умереть, только бы встретиться с ним,—лавочники принимают меня за его отца, и я не могу выразить, как это мне приятно. Мне хочется подольше упиваться этой радостью, и в то же время я тороплюсь увести его, прежде чем ему вздумается раз'яснить: «Это, собственно, не мой отец»...

Я отлично знаю, что было бы, если бы Давид встретился с Ахиллесом. Мальчик взял бы героя за руку, назвал его папой и повел бы к Круглому пруду...

Однажды—Давиду было тогда лет пять—я по-

слал ему записку такого содержания: «Дорогой Давид, если хочешь знать, как все это началось, — давай позавтракаем вместе в моем клубе».

Мэри, вскрывавшая, как я позднее узнал, все мои письма к нему, дала свое согласие. И я несколько не сомневался в том, что она наказывала ему хорошенько все запомнить, дабы он мог потом все ей передать... Она и сама не знает, как это началось... Воображаю, как ее разбирало любопытство. Я смеялся в душе — она, конечно, ждала чего-то весьма романтического...

Он явился ко мне наряженный, как для дальнего путешествия. И вид у него был необычайного торжественный, какой всегда бывает у мальчиков в длинных пальто. Шея его была обмотана шарфом.

— Когда лето подойдет, — сказал я, — ты кое-что снимешь с себя.

— А разве и лето будет? — спросил он изумленно и серьезно.

— Не одно, — ответил я. — Мы вернемся на несколько лет назад, Давид, чтобы увидеть твою мать такой, какой она была до того, как ты явился на свет...

Мы кликнули извозчика.

— Поезжайте на шесть лет назад, — сказал я ему, — и остановитесь у Старого клуба Фоджи...

Извозчик был глупый малый, и мне пришлось все время указывать ему дорогу моим зонтом.

Улицы уже не такие, какими они были утром... Так, например, в книжном магазине на углу продавали теперь рыбу... Я старался обратить внимание Давида на то, что происходило кругом нас.

— А я не стал теперь меньше? — тревожно спросил он и с испугом повторил:

— Я не стану совсем... маленький, папа... Нет?

Он не решался, очевидно, высказать опасение — не исчезнет ли он совсем с лица земли, и нервно сунул свою ручку в мою. Я спрятал ее в карман.

Вы представить себе не можете, каким маленьким казался Давид, когда мы входили в двери клуба!

II.

Маленькая няня.

Теперь прошу вас вообразить, что Давид превратился в ничто, и перенестись со мною на шесть лет назад. Ровно в два часа дня я вхожу в курительную комнату клуба...

Я звоню, прошу подать мне кофе, шерри-бренди*), папиросы и сажусь в мое кресло у

*) Вишневым ликер.

окна... и в ту же минуту замечаю нелепую молоденькую няню, ковыляющую по улице... Мне кажется, будто она выскочила откуда-то на мой звонок.

Пока я осторожно наливаю кофе в чашку, придерживая крышку кофейника, девушка подходит к почтовому ящику. И пока я выбираю подходящий кусок сахара, она успевает раз шесть взглянуть на свое письмо. Я закуриваю папироску, при содействии Вилльяма—она, тем временем, вновь перечитывает драгоценный адрес. А когда я прислоняюсь к спинке кресла, она опускает письмо в отверстие ящика. Я потягиваю ликер из рюмочки, а она стоит и слушает—подхватили ли почтовые чиновники ее письмо. Я хмуро отвечаю на привет знакомого члена клуба, имевшего бесстыдство войти в курильную, и в эту минуту ее два маленьких питомца уводят ее от почтового ящика. Когда я вновь поворачиваюсь к окну, ее уже нет. Но завтра, ровно в два часа, я опять позвоню, чтобы ее вызвать.

Она, вероятно, много раз проходила мимо окна, прежде чем я заметил ее. Я не знаю, где она живет, но полагаю, что где-то по близости. Она сопровождает маленького мальчика и девочку, которые, судя по обручам и серсо, тащат ее в С.-Джемский парк. Личико у нее усталое и бледное. Очевидно, хозяйка заставляет ее

работать через силу... И других служанок, вероятно, бесит, что у нее вид настоящей барышни.

Я заметил, что она часто опускает в почтовый ящик письма. Но событие дня для нее—лишь отправка одного какого-то письма. Все другие опускает она быстро, без церемоний, как простых плебеев, и только одно письмо вводит в отверстие ящика медленно и торжественно, словно коронованную особу. Я даже видел однажды, как она послала поцелуй вдогонку.

Затем, ее кольцо... Она так носится с этим кольцом, будто не она сама, а кольцо ее бодро катится по улице... Она ощупывает его сквозь перчатку—на своем ли оно месте, снимает перчатку и подносит кольцо к губам, хотя цена-то ему грош—я в этом не сомневаюсь. Она вытягивает руку и рассматривает кольцо на свет. Останавливается, опускает руку и любит тем, как выглядит кольцо на грязном фоне тротуара. Поворачивает руку направо и налево; иногда смотрит на кольцо одним глазом, прищурив другой. И когда вы убеждаетесь, что бедняжка твердо решила, наконец, думать о чем-то другом,—она украдкой бросает еще один взгляд на свое кольцо.

Попробуйте угадать, отчего Мэри была так счастлива... Нет, нет и нет... Все ваши догадки неверны. Просто потому, что ее любил один молодой оболтус... И вместо того, чтобы тужить

о том, что она—толь, ничевушка, она прогуливается, веселая и расфранченная, по Пэль-Мэль *), с вызывающим видом счастливой невесты... Первое время меня раздражало ее самодовольство, потом она стала частью моего существования, вместе с кофе, папиросами и ликером...

Но тут начинается трагедия. Вторник—значительнейший день в ее жизни. Она свободна по вторникам от двух до трех часов дня.

И вот, подумайте только: эта особа, получающая, вероятно, несколько фунтов в год, раз в неделю имеет целый час в своем распоряжении... Как она пользуется им? Слушает какие-нибудь курсы, пополняет свое образование? Нет! Вот что она делает: напяливает на себя все свои хорошенькие тряпки, включая и голубое боа, и выплывает на Пэль-Мэль с таким сияющим лицом, что я с яростью начинаю мешать сахар в своей чашке... В обычные дни она еще соблюдает серьезность... Но в один из вторников, она имела наглость даже остановиться перед зеркальной дверью моего клуба, чтобы, за неимением другого зеркала, полюбоваться своей физиономией ликующей невесты.

Длинноногий лодырь тем временем уже подкидывает ее у почтового ящика, где они встреча-

*) Улица в Лондоне.

ются каждый вторник. На нем всегда один и тот же костюм, а лицо у него — не допускающее и мысли о возможности его появления в приличном обществе. Это один из худощавых, стройных, ловких англичан, и я боюсь, что он и красив вдобавок... Говорю—боюсь, потому что, откровенно, не выношу красивых мужчин... Если бы я жил в век дуэлей, клянусь, я бы каждого красивого мужчину вызывал на дуэль. Мне кажется, что он едва даже понимает, как он красив... Но Боже мой! до какой степени это очевидно для Мэри. Я полагаю, что он художник, артист: он так быстро приходит в возбуждение, так быстро падает духом... И так как он как-то странно оттопыривает большой палец левой руки, словно собирается воткнуть его в дырочку палитры, я мысленно занюшу его в список художников и с удовольствием думаю о том, что картины его, наверно, из рук вон плохи, никто, конечно, не покупает их... Но я не сомневаюсь в том, что Мэри находит их великолепными—она из таких женщин, которые иначе не могут...

Надо видеть с каким восторгом он встречает ее... Первым делом, разражается хохотом. Лицо его оживляется, загорается и—«ха-ха»—и опять «ха-ха»... Вам кажется, что это, слава Богу, кончилось, и вдруг опять—«ха-ха» громче всех предыдущих,—я знаю,—это крики радости о том, что Мэри принадлежит ему, и временами

мучительно для моего уха звенит молодость в этом смехе... Я все, все готов простить ему, кроме его молодости...

Он так возмутительно, так вызывающе молод, что порой я перестаю владеть собою и раздражительно приказываю Вильяму закрыть окно...

Маленькая няня далеко не так откровенна в проявлении своих чувств, как ее влюбленный... Она появляется из-за угла, смотрит в сторону почтового ящика и видит: он ее ждет... Тогда она устремляет свои взоры вперед, в пространство... Он замечает ее, с сияющим лицом бросается к ней... Она вздрагивает от изумления и быстро прижимает руку к своему забившемуся маленькому сердечку.

Тогда я начинаю яростно мешать мой кофе...

Он смотрит на нее с самозабвением, загораживает всем дорогу; она берет его под руку, прижимает к себе его локоть, и оба гордо удаляются... Мэри не закрывает рта. Девять десятых разговора приходится на ее долю. Я тщетно стараюсь представить себе, как они будут выглядеть оба, когда подрастут...

Они до смешного друг на друга непохожи, эти два существа, но это несколько не помешало бы им обвенчаться—будь у них грош за душой.

Эта девчонка, для которой Лондон примечателен лишь как местопребывание одного молодого человека, очевидно, составившего себе о ней совершенно ложное представление, не внушает мне ни малейшей симпатии... Но ее счастье сплелось уже с моим ежедневным отдыхом в два часа пополудни. И когда она однажды прошла по Пэль-Мэль, не опустив письма в почтовый ящик, а вознегодовал... Так я рассердился бы и на Вильяма, если бы он ослушался какого-либо из моих приказаний. Оба ее питомца изумились не менее моего и вопросительно указали ей на почтовый ящик. Но она только покачала головой, провела пальчиками по глазам—точь-в-точь как огорченный ребенок—и прошла мимо.

На следующий день повторилось то же самое, и я пришел в такое бешенство, что прикусил мою папироску... Наступил вторник, и я молил Бога, чтобы так или иначе разрешилось, наконец, это неприятное осложнение... Но, увы! Никто из них на обычное место не явился... Быть может, они переменили почтовый ящик? В этом предположении мало вероятия—у нее были каждый день красные глаза, и не подлежало никакому сомнению: какая-то большая печаль легла на ее глупое сердечко... Любовь погасила свои факелы, и маленькая няня блуждала во мраке...

Я чувствовал, что способен обратиться за со-

действием к какому-нибудь комитету нравственности...

Что это в самом деле! Самолюбивый вы шут, после всего, что вы ей там наговорили, не угодно ли вам положить конец этой истории и дать мне спокойно пить мой кофе?.. Но не на такого напали!

Обращаюсь к вам, маленькая няня! Противная вы девчонка, извольте быть веселой попрежнему—по крайней мере, в течение тех пяти минут дня, когда вы что-то для меня значите... А там можете рюмить сколько душе вашей угодно... Возьмите себя, наконец, в руки! Уверю вас, это прескверный художник. Не далее, как третьего дня, я видел его перед окном дешевого итальянского ресторана. Он долго, жадно смотрел в окно, и все свои вожделения, в конце концов, утолил всего на всего одной слобной булкой за два пени... Право, Мэри, мы могли бы добиться чего-нибудь лучшего!

Все напрасно. Ей во что бы то ни стало надо быть любимой... Без любви она не знает, что делать с утра до самого вечера. Я и не представлял себе, как мало нужно женщине, пока она не лишается и этой малости... Все они таковы. Чорт побери, сударыня, если вы решили до самой смерти изображать собой неутешную плаксу, то не угодно ли вам отправиться на какую-нибудь другую улицу...

Однако, ей мало того, что она каждый день проходит мимо моего окна с заплаканными глазами... Я заметил, что каждый вторник, между двумя и тремя, она стоит на углу и безнадежно смотрит на романтичный почтовый ящик, подле которого они больше не встречаются... Дни стоят ветреные, и она напоминает мне сорвавшийся с дерева лист, гонимый вихрем.

И мне больше ничего не остается, как срывать свою злость на Вилльяме...

Наконец, недостойная мечта ее всетаки осуществилась. Однажды в ненастный вторник, из окна, у которого я писал письма, я увидел, что несчастная показалась на своем посту, на углу улицы... В припадке ярости, я вскочил с места с одним единственным письмом, которое успел кончить, решив остальные письма написать уже у себя дома. Она умудрилась таки выгнать меня из клуба...

Я свернул с Пэль-Мэль в боковую улицу и на кого я наткнулся? Конечно, на ее вероломного друга... Я изо всех сил толкнул его в бок, что всегда, впрочем, делаю, когда наталкиваюсь на кого-нибудь... Я взглянул на него: глаза провалились, лицо посерело и ни одного «ха-ха»... Более жалкого молодого человека мне никогда не приходилось видеть... Он как будто и не почувствовал моего толчка. Но, что меня поразило: он напряженно смотрел в сторону почтового отде-

ления, и по одному только его взгляду я понял, что он все еще обожает мою маленькую няню... Кто бы из них не был повинен в этой ссоре,— он так же жаждал примирения, как и она. И, быть может, он каждый вторник торчал здесь, в то время, как она стояла на углу Пэль-Мэль, и оба с тоской смотрели на почтовое отделение. Но они не могли видеть друг друга со своих наблюдательных пунктов...

Мне кажется, что я поступил ловко. Я незаметно уронил письмо к его ногам и побрел обратно в клуб. Порядочный человек, найдя письмо на мостовой, сочтет своим долгом опустить его в почтовый ящик. И надо было предположить, что он пойдет к ближайшему почтовому ящику...

Я входил со шляпой в руках в курильную, и в эту самую минуту он приблизился с моим письмом к почтовому ящику. Я взглянул на девушку... у нее был все тот же удрученный вид... И вдруг—ах! Бедная, неужели это далеко зашло...

Она плакала навзрыд, а он держал обе ее руки в своих. Это была неприятная картина...

Молодой художник тоже наверно бы разреvelся, если бы не тискал ее руки в своих... она, наверно, умерла бы, если бы не прижалась головой к его груди. Но надо отдать ему справедливость—он оказался на высоте положения: он кликнул извозчика...

— Вильям,—сказал я весело:—кофе, папирос и шерри-бренди...

Я сидел и наблюдал эту давнишнюю сцену, когда Давид вдруг дернул меня за рукав и спросил, на что я так внимательно смотрю. И когда я сказал ему, он бросился к окну, но не успел уже увидеть особу, которой суждено было стать его матерью. Все, что я рассказывал ему о ней, он слушал, однако, с большим вниманием и заметил, между прочим, что знаком с человеком, который так громко смеялся—«ха-ха»—«ха-ха»... И вместе с тем, он раздражал меня своими глупыми любопытными расспросами о двух детях, которых провожала Мэри... Он, повидимому, их и считал героями этой истории... Как их звали? Сколько им было лет? Были ли у них обручи? Железные или деревянные? Кто подарил им эти обручи?

— Ты, очевидно, не понимаешь, милый мой,—кисло заметил я,—что не урони я этого письма, никогда бы не было на свете мальчика, которого зовут Давид А.

Но вместо того, чтобы поразиться этим, он ответил, что в таком случае он до сих пор порхал бы птичкой в Кенсингтонском парке.

Давид знает, что все дети нашего квартала были когда-то птичками в Кенсингтонском парке. Оттого к наружным подоконникам в детских и приделывают перила, а перед каминами ста-

вят решетки: маленькие дети часто забывают, что у них нет уже больше крыльев, и делают попытки улететь в окно или в трубу...

Детей в таком состоянии поймать трудно. Давид знает, что у многих людей детей вовсе нет, и наибольшее удовольствие для него—ходить со мною в парк и смотреть, как эти обойденные судьбою стараются приманить птичку крошками бисквита...

Для каждого, наблюдавшего птиц, не подлежит сомнению: птицы отлично знают, что будет с ними, если их поймают, и не вполне уверены в том, что новая жизнь будет лучше прежней... А если вы оставите под деревьями вашу пустую косялочку и будете наблюдать издали, вы увидите, как птички слетают на нее и прыгают по подушкам и по шерстяному одеяльцу: они приглядываются—хорошо ли быть маленькими детьми и пристало ли это к ним...

Самая очаровательная картина в парке, это когда дети отбегают от своих нянек, мирно беседующих под деревьями, и, свободные от надзора, принимаются кормить птичек... Прежде всего тут, конечно: кусок тебе, кусок мне—и в обоих лагерях непрерывный хохот и говор, обмен восклицаний и расспросы о старых друзьях. Но что именно они говорят, я передать не могу, потому что едва я приближаюсь к ним, они все рассыпаются в разные стороны...

Давида я в первый раз увидел на лужайке за Детской аллейкой: он был тогда белым дроздом. И его в этот жаркий день приманил рукав наса, из которого весело бежала вода. Он лег на спину и стал болтать лапками в воде... Его очень забавляет этот рассказ о первом моем знакомстве с ним. Он все позабыл, но мало-по-малу припомнил множество подробностей, в свое время ускользнувших от моего внимания... В памяти моей отчетливо удержалось лишь то мгновение, когда его поймали за ножку бечевкой и каким-то хитрым сооружением из прутьиков. Это было у Круглого пруда. Он никогда не устает слушать эту историю, но я замечаю, что теперь уже не я, а он сам ее рассказывает, и когда доходит до бечевки, он растирает ножку, будто она все еще болит у него от садины...

Однажды Давид задумался над возможностью вновь стать дроздом и отрывисто крикнул мне: «Не роняйте письма на землю!»...—В глазах его уже задрожали отражения ветвей...

— Подумай о матери,—сурово заметил я.

Он ответил, что часто прилетал бы к ней... Он прежде всего прилетит поцеловать ее... Нет, прежде всего он слезет бы на кувшин и напился бы воды...

— Скажите ей, отец,—добавил он о возмутительным бессердечием,—чтобы она всегда нали-

вада кувшин до краев, а то, если мне наклоняться глубоко, я еще могу утонуть...

— Значит, не ронять письма, Давид? Подумай, каково будет твоей бедной матери без мальчишка?..

Это произвело на него впечатление, но он победил в себе минутную слабость...

— Когда она уснет,—сказал он,—он в прыжке по кружевам ее ночной рубашки приблизится к ее лицу и клюнет ее в губы...

— А она проснется и увидит, что это только птичка, а сына у нее нет, что тогда, Давид?

Такого горя он не в силах был причинить своей матери.

— Ну... ну, роняйте письмо,—сказал он со вздохом.

Я уронил письмо, о чем уже рассказал, и с этого все началось.

III.

Ее замужество, ее гардероб, ее аппетит и ее обстановка.

Недели две спустя после того, как я уронил письмо, мне случилось ехать на извозчике в казармы, и вдруг я услышал это невыносимое «ха-ха» «ха-ха», покрывшее весь шум города, — и увидал их обоих. Они выходили из музыкаль-

ного магазина, где отдавались пианино на прокат. Выражение необыкновенного блаженства изображалось на ее лице, а его голова была гордо откинута назад. И все потому, что они заказали себе пианино.

Итак, они должны были вскоре обвенчаться. Это было и жалко и смешно, но я только рукой махнул на них... Эта особа занимает меня только тогда, когда она несчастна... Она умеет тогда казаться худенькой, хрупкой и не такой вовсе, какова в действительности.

В следующий раз я увидал их перед магазином дешевых хозяйственных принадлежностей—эти магазины, как известно, одни из самых волнующих соблазнов Лондона... Оба они жадно разглядывали витрину. Мэри с лихорадочной быстротой делала пометки на клочке бумаги, он также быстро подсчитывал, и в итоге, ничего не купив, оба уныло пошли дальше... Я был в веселом настроении духа...

«Не выгорело, сударыня, — подумал я,—перспективы самые безнадежные... Новый визит в «Контору для найма бонн и гувернанток» — неизбежен. Не удалось выйти замуж — на кочергу, — нег не хватило».

Но я плохо еще знал эту барыню. Через несколько дней я очутился на улице позади нее. Есть что-то неуловимое, чего я определить не могу, в шелесте ее юбок, по которому я всегда

догадываюсь о ее близости... Она несла огромный пакет, что-то вроде птичьей клетки, завернутой в коричневую бумагу. Она вошла в лавку старьевщика и вышла оттуда уже без пакета. Она не шла, а бежала со всех ног к магазину дешевых вещей. И так как я никаких тайн не выношу, то я вошел к старьевщику под предлогом осмотреть его бракованный фарфор. На конторке стояла та самая вещь, которую Мэри продала, чтобы обзавестись хозяйством на сумму, вырученную с этой продажи... И как вы думаете, что это было? Очаровательный кукольный домик... В нижнем этаже куклы пили чай, в верхнем укладывались спать, одна кукла провожала гостей к выходным дверям... Любящие уста давно уже облизили яркие краски, но в общем это была прекрасно сохранившаяся вещь—очевидно—утеха детских лет. И ей пришлось расстаться с нею для того только, чтобы выйти замуж...

Лавочник, видя, что я разглядываю игрушку, пояснил:

— Только что продана нам одной барышней... Она ей больше не нужна...

Никогда еще не был я так зол на Мэри, как в ту минуту. Я купил кукольный домик, и так как лавочнику известен был ее адрес (от него же я узнал и ее имя), то я поручил ему отослать ей игрушку вместе с письмом, которое написал тут же в лавке: «Сударыня, не делайте глупо-

стей... Вам, наверное, в недалеком будущем опять нужен будет этот домик... Имею честь и проч. Человек, обронивший письмо»...

Поразмыслив, я сообразил—слишком поздно, к сожалению, для того, чтобы отменить поручение,—что, ведь, в сущности, я послал ей свадебный подарок. А когда я опять увидел ее, она была уже несколько месяцев замужем. Это было в ноябрьский вечер, часов около девяти, на узенькой улице с двумя тесными рядами лавок. В течение двадцати лет улица эта все не могла прийти к какому-либо определенному решению: стать ей модницей или попрежнему пребывать простушкой... Она жеманится и выражает претензию на хорошее воспитание. Но отвернитесь немного, и она уже запустила язык прямо в чашку с мороженым. Когда мне случается проходить по этой улице, расположенной недалеко от моего дома, я ускоряю шаг и обыкновенно снимаю очки. Но в этот вечер я шел не спеша... Впереди меня шла Мэри, как-то нелепо всем телом опираясь на руку своего хохотуна, и оба возбужденно тараторили. Она как будто пеняла ему за то, что он куда-то вел ее, и в то же время восхищалась тем, что он не слушается ее и не идет обратно... Я не мог понять, в чем дело...

И вот—угодно вам знать, зачем Мэри и ее художник попали на эту улицу? Чтобы купить две свиных котлеты... Честное слово!

Она пыталась убедить его, как я понял, наконец, что они живут не по средствам, и хотела увести его домой. Но в душе она любила всякую смелость и восторгалась тем, что он не слушался ее советов.

Купив котлеты, они радостно, как ветреные дети, побежали домой. Я пошел за ними, надеясь выследить, где они живут, но скоро потерял их из виду... В эту ночь в голове моей сложился следующий афоризм: «тщетны все старания догнать хорошенькую молодую женщину, несущую две свиных котлеты».

Я решил, однако, узнать, во что бы то ни стало, где они живут... Наверно, где-нибудь недалеко от этой лавки. Я даже склонен думать, что, нанятая квартиру, они соблазнились объявлением, гласившим: «Дом выгодно расположен в отношении Свиного рынка».

И вот, в один прекрасный день... Очень романтично то, что я сейчас расскажу, но я скорее горжусь этим... Квартира моя во втором этаже, и выходит окнами на убийственно чистую улицу, от которой меня отделяет маленький дворик, почему-то именуемый садом... Он так мал, что тень от наших деревьев идет на пользу соседям. В этот день я сидел у окна и смотрел в сад. И вдруг—кого я вижу на стуле в соседнем садике? Мою маленькую няню!

Я надел очки—не ошибаюсь ли я?

Да, это была она... Но она сидела неподвижно, ничего не делая, что совсем не вязалось с моим представлением об этой особе... Я принес полевой бинокль и тогда лишь увидел, что это была не Мэри, а всего только ее жакетка... Она висела на спинке стула, как будто подбита была мехом, и, повидимому, повесили ее здесь, чтобы проветрить. Я очень оторчился, и стал убеждать себя, что если это не сама Мэри, то это во всяком случае ее жакетка...

Я никогда не видел на ней этой жакетки, но не сумею сказать, почему я был уверен, что это именно ее...

Вероятно, платья перенимают кое-что от своих хозяев. Если ее юбки всегда предупреждают меня о ее близости, очевидно, она и своему жакету умудрилась сообщить какой-то отпечаток своей личности. Или, быть может, она сама является своей собственной портнихой и вшивает в них частички самой себя...

Думайте, что вам угодно...

И я тотчас же надел шляпу, а через пять минут из соседнего домика выплыла Мэри и ее супруг... Ну, что, догадливый я, по-вашему, человек, или нет?

Когда они свернули за угол, я стал, не спеша, разглядывать их дом... Забавный это был дом! Если рассматривать его с фасада, то он состоит

как будто из одной только двери и одного окна, но опытный глаз подметит еще одно окошко, вернее, отдушину в стенке какого-то помещеньца, которое Мэри, вероятно, пышно называет своей спальней...

Дома по обе стороны этой коробки были большие, и позднее я узнал, что на ее месте некогда был здесь открытый проход на задние двory. Полтора этажа, из которых состоит домишко, сколочены были на живую нитку, скорее, плотниками, нежели каменщиками... Получалось впечатление какого-то ярко раскрашенного дощатого фургона, застрявшего посреди дороги.

Маленькие домики в Лондоне несравненно уютнее больших, и я никогда не прохожу мимо них, не помянув добрым словом строителей. Но этот домик был просто смешон. Его даже нельзя было назвать домом, потому что над дверью висела доска с надписью: «Этот участок земли продается». И когда я звонил у дверей, я вспоминал, что эта доска уже многие годы висела здесь. Я пришел под предлогом купить продававшийся участок. Открыла мне пожилая женщина с унылым лицом. Благообразная внешность ее как-то плохо вязалась с убогим видом домика. Она, вероятно, прочитала эту мысль на моем лице, потому что первые слова ее были характера объяснительного:

— Они меня за гроши взяли,—сказала она,—так как я выпиваю...

Я кивнул головой, и мы вышли в гостиную. Не помню, описывал ли я уже внешность Мэри. Эта солнечная светлая комната была точной копией с своей хозяйки... Прежде всего я подумал: где она достала столько денег, чтобы так устроиться... Этот вопрос всегда приходил мне в голову и при встречах с Мэри на улице...

Мне не хватает места (и это при очень маленькой комнате), чтобы перечислить все безделушки, которыми Мэри украсила свое жилище,—начиная от висевшего на стене рукодельного шнура, на котором не было звонка, и кончая раскрашенным ящиком для сигар, в котором не было сигар...

Пол, восхитительного зеленого цвета, покрыт был великолепными восточными коврами... Зеленый и белый,—подумал я,—вот сочетание цветов, придуманное живущей здесь лэди, сочетание несколько холодное и, очевидно, имеющее целью смягчить слишком резкий свет солнца. На окнах висели занавеси из какой-то прозрачной ткани, цвета алых анемонов... Складки величаво опускались до самого пола, и, глядя на них, я почему-то представлял себе Мэри принимающей гостей... Пианино, как я уже знал, взято было на прокат. Но здесь было достаточно предстанных вещей и помимо пианино. Большинство мебели

было из зеленого дерева: диван, угловой шкафчик, восхитительный письменный столик... Столик этот чрезвычайно напоминал его собственницу... Он и сам, казалось, мог присесть подле нее и написать записку на ее коленях. На листках почтовой бумаги, лежавшей на столе, напечатано было «Мэри», очевидно в предположении, что с другими Мэри, живущими на свете, не стоит считаться... На стенах висели масляные картины, большинство без рам... Должен еще отметить канделябр,—очевидно, вещь исключительной ценности: он стоял под чехлом...

— Ваши господа, видимо, люди с большими средствами,—сказал я служанке.

Она выразительно покачала головой и проормотала что-то невнятное...

— Вы хотите сказать, что... что он женился на богачке!—осторожно заметил я.

На этот раз я разобрал ее ответ.

— В сухомятку едят,—гласил он.

И женщина опять погрузилась в мрачное молчание.

— Однако,—сказал я,—обстановка этой комнаты должна была стоить немалых денег...

— Она все сама сделала,—ответила женщина с сосредоточенным презрением.

— Но этот зеленый паркет...

— Немного масла и на шиллинг краски,—сказала она и вспыхнула от стыда.

— И эти ковры...

— Обрезки!—она вздохнула и показала мне, как они искусно были сшиты.

— И занавеси эти...

— Остатки... с дешевой продажи...

— Но уж, во всяком случае, этот диван...

Она подняла материю, которой задрапирован был диван, и я увидел: это было искусное сооружение из упаковочных ящиков.

— А письменный столик...

На этот раз—я был уверен—ей нечего будет мне возразить... Я видел выдвигаемые ящики с медными ушками, прелестную полку для книг и маленькие полочки для бумаг, обтянутые шелком...

— Три ящика из-под апельсинов, сама сколотила его,—сказала она уже сама несколько удивленная.

Я растерянно озираясь во все стороны. Глаза мои остановились на предмете в полотняном чехле...

— Должно быть, очень красивый канделябр под этим чехлом,—вкрадчиво начал я.

Она высморкалась и протянула было свою заскорузлую руку, но я остановил ее.

— Нет, ради Бога,—твердо сказал я.—Я предпочитаю верить в этот чехол... Люди, которые ни во что не верят, сударыня, достойны только страдания...

Да, все эти хорошенькие вещи, которые маленькая няня соорудила из ничего, — помешали мне обнажить ее канделябр...

— Но... ведь, это целая выставка! — добавил я.

Женщина заметила, что наверху имеется целый ряд других выставок.

— Вот как!.. И верх есть? Что же она и лестницу сама сделала? — подоврительно осведомился я.

— Нет, лестницу она не сделала, но она ее переделала.

Лестница вела в спальню Мэри. Я сказал, что спальню мне нет надобности видеть, но просил показать мастерскую, помещавшуюся в сарайчике в саду.

— Что же она и мастерскую своими руками сделала?

— Нет... но как она ее изменила.

— Кси: она умеет все изменять! — сказал я. — А вы не думаете, что она и за вас возьмется...

Мое явное к ней расположение смягчило ее сердце. Она поделилась со мною кое-какими сведениями... Сумма, которую Мэри и ее супруг платили за это помещение, не могла, конечно, льстить самолюбию сколько-нибудь уважающей себя прислуги. Им очень дешево сдали домик, но под условием, что они должны немедленно очистить его, если участок земли будет куплен под какую-либо постройку. Они оттого и мирились

с этим позорным объявлением, что платили так дешево... Мэри А. ненавидела слова: «Этот участок продается», и готова была сломать доску в мелкие щепки. Она гордилась своим домом, точно это был настоящий дом, и замирала от страха каждый раз, когда заходила речь о возможной покупке участка... Так как я уже сообщил один из моих афоризмов, то не могу умолчать об афоризме, которым обмолвилась прислуга.

— Самое трудное, — сказала она, — это не рисовать картины, а добывать для них рамы. Это очень тяжело, — добавила она.

Она не очень высоко ставила искусство своего хозяина. Впрочем, и посторонние его не высоко ставили. В результате — еда в сухоматку.

Да, один только человек верит в его талант или воображает, что верит, и всегда горячо восхищается... И однажды, когда художник впал в уныние, она шепнула пришедшему гостю: «Похвалите, похвалите, ради Бога»... — Это была, конечно, Мэри... Только она одна могла вернуть мужу хорошее расположение духа и веру в себя.

— Опасная женщина, — сказал я, вздрогнув, и стал разглядывать картину, висевшую над каминном. Это был мужской портрет в раме. Картина производила впечатление довольно приятное.

— Ее друг, — пояснил мой чичероне. — Но я никогда его у них не видела...

Я хотел уже отвернуться от портрета, когда

обратил внимание на подпись внизу. Желтым тонким почерком выведены были слова: «Воображаемый портрет нашего милого незнакомца... Неужели это я? Сказать вам не могу, как меня взволновала эта догадка».

На портрете изображен был весьма привлекательный молодой человек, лет тридцати, не больше...

— Вы говорите, что это ее друг?—спросил я дрожащим голосом.—Откуда вы это знаете, если никогда не видели его здесь?

— Когда хозяин рисовал его,—ответила она,—он часто прибегал из мастерской и спрашивал у нее: «Какие глаза ему сделать?»

— И что она отвечала?—быстро спросил я.

— Она говорила: «Прелестные голубые глаза». А он: «Лицо тоже сделать красивое?» И она отвечала: «Очень красивое».—«Средних лет?»—спрашивал он.—А она: «Двадцати девяти».—Раз он спросил: «С маленькой лысиной?» А она как закричит: «Никакой, никакой лысины!»

Милая, благодарная девочка: никакой лысины!..

— Я видела, как она бросала воздушные поцелуи этому портрету,—добавила служанка.

Вообразите Мэри, посылающую мне воздушные поцелуи. Уфф!

Я смотрел на портрет и придумывал насмеш-

ливую надпись, какую я бы сделал на нем, когда опять услышал подле себя голос служанки.

— Она, кажется, знала его с самого детства,—сказала она.—Тут вот и подарок от него...

Она опустилась на колени и вытащила из-за дивана кукольный домик. У меня тотчас мелькнула мысль сунуть в него записку с несколькими насмешливыми словами. Но духа не хватило, и я скажу вам, почему... Эта проданная однажды игрушка была любовно отделана заново... На куклах были свежие платица, и краска на мебели не успела еще высохнуть... Кукольный домик был уже почти готов для дальнейшего употребления...

Я взглянул на служанку, но лицо ее ровно ничего не выражало.

— Поставьте его на место,—сказал я.

Мне стыдно было, что я таким путем узнал маленькую тайну Мэри... Я с грустью ушел из ее домика. Мне стало ясно, как день, что маленькая няня вновь завладела моим вниманием.

IV.

Ночное бодрствование.

Ночь... Муж Мэри один в тягостном ожидании бродит по улице... Он бессилен теперь сделать что-нибудь для вас, маленькая няня...

Теперь ей надо одной довести борьбу до конца. Когда великое событие происходит в доме, мужчине в нём места нет... Самоуверенный, себялюбивый, нечуткий мужчина, час твоей жены прожил... Уходи прочь!

Он с опущенной головой уходит от своего дома, попрежнему влюбленный, преданный...

Но разве он был когда-нибудь неласков с нею? Этого он никогда бы себе не простит... Неужели в эту ночь его будут мучить воспоминания о неласковых словах... Но пускай этого и не было, все равно—надо поставить себе впредь за правило: быть только ласковым, ласковее, чем это нужно...

Бедняжка, она подошла бы к окну, если бы могла, и дала бы знаками понять, что единственная ванна нещелкательность в отношении ее давно забыта... Она успокоила бы вас улыбкой, и если вам не суждено более видаться, все равно—оставила бы на память о себе эту успокаивающую, трепетную улыбку...

Ах, все это возможно было еще вчера—сегодня уже слишком поздно. Он бродит по темной улице с мыслями о ней, но она забыла о нем. В великий час женской жизни, мужчина перестает существовать для женщины—и любовь кажется таким пустяком в эти мгновения...

Он ходил по одной стороне улицы, я по дру-

гой, и перед мною мелькали картины, в которых я неизменно на первом плане видел Мэри А.

Я вспоминал утро на следующий день после единственного моего посещения их дома. Управляющий обещал мне снять ненавистную доску с объявлением, но я не сомневался в том, что едва она узнает об этом, она не будет ждать плотника и сама снимет доску... И, действительно, когда я проходил утром мимо ее домика, она стояла на стуле, поставленном на скамейку, и изо всех сил стучала молотом по доске... И когда доска сорвалась, она в сердцах толкнула ее ногой...

Потом муж ее стал караулить по вечерам почтальона. Он ждал, повидимому, очень важного письма, от которого зависела судьба его картины... Напряженно, как убийца или ангел-хранитель, следил он за почтальоном, переходившим от дверей к дверям... Ни разу не решился он спросить, есть ли для него письмо, но едва оно падало в ящик, торопливо вынимал его, вскрывал, и если дверь безнадежно захлопывалась за ним, жена, все время смотревшая на него из окна, прижимала руки к сердцу. Но если письмо приносило с собой хорошую весть, они тотчас же выходили из своего домика и важно направлялись в сторону колбасной лавки... Еще одна картина. В летние вечера я наблюдал в открытое окно, как она, сидя за пианино, играла и пела для него... Или играла одной рукой, а

другую протягивала к нему. Она была так безумно счастлива и так романтично настроена... Она смеялась до тех пор, пока ей не удавалось его развеселить, а я уверил, что глаза ее на мокром месте и затуманиваются уже при первых страницах какой-либо трогательной повести...

Мало-по-малу, смеясь, плача, вздыхая, маленькая няня превратилась в другую женщину, лучезарную, загадочную... Муж, вероятно, скорее свыкается с великой переменной и даже забывает, что было время, когда глаза его Мэри не отражали еще детского личика...

Я стараюсь угадать мысли молодого супруга, шагающего по другую сторону улицы. «Если бы не эта помеха, он гулял бы с нею... Она вовсе не так искренна, какою кажется... Всего лишь несколько часов тому назад, она так весело болтала, что всякого могла бы ввести в заблуждение»...

Праздные вопросы:

«Отчего весь этот ужас должен лечь на нее одну? Отчего мужчина должен шататься по улице в эту ночь? Нет, нет, это прямо несправедливо».

Бедный мальчик, его жена забыла теперь о нем и о его бурной любви. Если она будет жить, она вернется к нему, но если умрет, то с ясным и ликующим лицом... Жизнь и смерть, ребенок и мать всегда встречаются в тот миг, когда один

вплывает в гавань, а другой поднимает паруса... Они обмениваются звонким приветствием, и пути их расходятся...

А потом?

Я думаю, что единственные призраки, являющиеся в наш мир, это—умершие молодые матери... Они приходят навещать своих детей. Это одно побуждает их возвращаться вновь на землю... Они проскальзывают и днем и ночью, мимо бдительных стражей, в знакомую комнату:—«Ну, каково тебе живется, дитя мое?» — Ребенок пугается незнакомого лица, но шепот матери так тих,—он не слышит его... Матери наклоняются над своими детьми, вслушиваются—спокойно ли их дыхание, оправляют на них одеяльца, открывают ящики комода и считают, сколько у них рубашек. Им необходимо это знать...

Самое печальное для этих призраков то, что они не узнают своих детей. Они надеются увидеть их такими, каковы они были в час разлуки, растерянно ищут их по всем комнатам и ненавидят незнакомых им мальчиков, в которых превратились их крошки. Бедные, томящиеся матери, они даже способны иногда причинить своим детям зло... Это те призраки, что стонут и рыдают ночью в старых домах. И сколько диких, нелепых историй сочиняют люди, чтобы объяснить то, что, в сущности, так трогательно и просто...

Я знаю человека, который после долгих и дальних странствий, вернулся в родной дом, чтобы провести в нем одну ночь. С своего кресла перед камином, он заметил, как время от времени тихонько приоткрывалась дверь, и в комнату заглядывала какая-то женщина. Она враждебно поглядывала на него и тотчас исчезала. Станные вещи происходили в этом доме. Окна сами собой раскрывались ночью. Полог над кроватью вспыхнул. В лестнице проломилась одна ступенька. Кто-то коварно сдвинул плиту над старым колодезем в сенях, через которые ему надо было пройти. И когда он, наконец, занемог, чья-то рука перепутала лекарства, и он умер. Как могла знать молодая мать, что этот седой, откуда-то явившийся человек,—ее дитя, о котором она томила...

Все наши представления о призраках ложны. Меньше всего влекут призраков обратно в наш мир недовершенные желания или жажда мести. И мы внушаем им гораздо больше страха, нежели они нам...

...Мало-по-малу огни на улицах погасли; светилось только одно окно в маленьком домике. Не помню, как это произошло—я ли первый подошел к нему, или он ко мне, но мы уже не повторяли каждый, как эхо, шаги другого, а шли рядом... У меня не было никакого желания обманывать его, но должен же я был как-нибудь

объяснить мою ночную прогулку, и вероятно, я сказал по этому поводу два-три слова, которые он истолковал по-своему, потому что, слушая меня, он в то же время напряженно прислушивался к другим звукам... Как бы там ни было, он почему-то решил, что и меня тоже выгнало на улицу такое же исключительное обстоятельство, как и его... Я оставил его при этом заблуждении.—Не все ли равно, в конце концов,—подумал я,— а между тем, это так естественно сблизало нас... Мы говорили о том, о сем, об успехе в жизни... Для меня честолюбие давно уже перешло в область воспоминаний... Это уже далекое прошлое, миг минувшей молодости, и мне пришлось бы целый день ехать в поезде к этому цветущему лугу, на котором рос когда-то этот буйный цветок...

Но он—он еще вчера был честолюбив...

— Господи! — воскликнул он, испуганно вздрогнув.

Часы пробили четыре четверти... Потом пробил час, два.

— Какой час теперь?

— Двадцать минут третьего...

— А теперь—какой час?

— Да все еще... двадцать минут третьего...

Я спросил, есть ли у него родные... Ни у него, ни у нее никаких родственников не было...

— У нас есть один друг,—начал он, и

помолчав немного, стал рассказывать какую-то несвязную историю о письме, о кукольном домике, о каком-то незнакомце, таинственно прибревшем одну из его картин...

Я с трудом следил за нитью его рассказа.

— Она уверена, что это одно и то же лицо,— продолжал он.— Она говорит, что он откроет свое лицо, если с ней что-нибудь случится...

Голос его упал до хрипоты.

— Она сказала,— добавил он,— чтобы я передал ему ее привет, если она умрет и если мне удастся разыскать его...

И мы опять разошлись в разные стороны с тем, чтобы, пройдя несколько шагов, опять пойти рядом. Это неоднократно повторялось в течение ночи. Он стал было говорить о том, что она наказывала ему сделать в случае, если умрет... Но я ничего из его слов понять не мог—они комкались у него во рту... Он не хотел говорить об этих страшных вещах и поминутно вновь возвращался к ним, как школьник к ненавистным урокам. Ребенок! За этот короткий год она сумела совершенно подчинить его себе... Так-вы они всегда—эти женщины: первым делом они стараются превратить своих мужей в беспомощные существа... Много ли вы найдете счастливых мужей, умеющих вбить гвоздь в стенку?

...Ну, как вам известно—маленькая няня не

умерла. В четыре часа без восемнадцати минут мы оба услышали шум крыльев Давида. Он и теперь еще хвастает этим, и с таким видом, будто первое, что он счел нужным сделать, явившись на свет, это—взглянуть на часы...

Какой-то пожилой господин открыл дверь и, махая рукой, поздравил моего спутника, который тотчас же боднул меня головой, отбросил к стене, потоптался с мгновенье на месте, не зная, что ему дальше со мною делать, и убежал, как сумасшедший... Я бросился за ним, дернул его за руку, хотел пожать ее, но в тот же миг раздалось такое восхитительное «ха-ха-ха», что я почувствовал только отвращение и страстное желание когда-нибудь зло посмеяться над Мэри А.

— Теперь уже ей не до вас, милый,— сказал я ему вдогонку, — я знаю этих женщин... Умственный уровень их (единственное, что отличает их от животных) невысок, и в течение трех ближайших лет она помешана будет на своем ребенке... И вы ей теперь больше не нужны... Конечно... Все равно, что дотисанный этюд...

Но сомневаюсь в том, что он слышал мои слова... Я вошел домой. Домой! Словно может быть дом у одинокого человека... Как часто, поднимаясь по лестнице в мои одинокие, роскошные комнаты, я останавливался и прислуши-

вался к веселым голосам прислуги в нижнем этаже... В это утро я уснуть не мог. Я бродил в сопровождении моего большого пса из одной комнаты в другую—всюду было пусто и уныло... Я докуривал уже сигару, когда услышал стук камушка в окно. Я подошел и увидел перед окном отца Давида. Я сказал ему, что живу на этой улице, и он пришел, очевидно, на свет из моего окна.

— Я не мог лечь,—хрипло крикнул он,—пока не узнаю, как у вас? Все благополучно?

Я не понял в первое мгновение, о чем он говорил, но, сообразив, ответил:

— Да, да, благополучно...

— Оба здоровы?—спросил он.

— Оба,—ответил я, закрывая окно. Его, несомненно, привело ко мне доброе чувство, но меня вопросы его выводили из себя.

— Мальчик или девочка?—продолжал он уже с любопытством дурного тона.

— Мальчик!—ответил я с яростью.

— Великолепно!—крикнул он, и еще что-то добавил, но в это время я с шумом захлопнул окно.

V.

Тимофей.

Малыш Мэри кричал непрерывно, и так громко и так восторженно, словно считал себя предназначенным для безоблачно-счастливой жизни... Когда я сворачивал с моей улицы в другую, я часто слышал его «ха-ха-ха»... И звучало оно так, будто это было что-то совсем новое в мире, хотя он просто перенял это, как попугай, от отца... Мне нисколько не жаль было этой женщины, но отца я жалел от всей души...—«Бедняга!»—думал я,—сознавать, что каждый раз, когда сыну вашему весело, он делает вас всеобщим посмешищем... Фи! Вот удовольствие!»

Я знал одну очаровательную, хорошенькую девушку, у которой всегда был надутый вид, а непроницаемые люди требовали от нее ясных веселых улыбок и не догадывались, в чем ее героизм. По природе своей—это была веселая, жизнерадостная девушка, но изучив хорошо свое лицо, она убедилась, что больше всего идет к ней недовольный, хмурый вид. Она долго боролась со своей врожденной веселостью, пока не победила ее... Обычная женская история... Милая Маргарита, когда наступает ночь, и ты распускаешь свои волосы, разрешаешь ли ты себе быть

самой собою, или и тогда не даешь себе воли, и спишь, бедная, с недовольной гримаской на лице?..

Но неужели ребенок-мальчик способен на такое самопожертвование ради отца?..

Посмотрим... Через несколько месяцев я решил послать Давиду лошадь-качалку. Меня сопровождал в игрушечный магазин мой сен-бернар, хотя я неохотно вожу его с собою в игрушечные магазины—это его очень возбуждает... Однако, игрушки, которые я покупаю, я покупаю для него, и так как мы не решаемся сойтись в этом приказчикам, то в магазине мы оба сдержанны и серьезны. Раз двадцать говорил я ему, чтобы он оставался дома. И, наконец, решительно заявил ему, что больше не буду брать его с собою. Но тогда он вытягивал свои лапы, шумно падал на пол, словно брошенный с размаху мешок с углем, и, положив голову меж передних лап, смотрел на меня своими печальными глазами из-под красных век. Он может смотреть так целый час, ни разу не моргнув, и знает, что, в конце концов, разжалобит меня... Мой пес не Бог, ведь что знает, но то немногое, что ему известно, он знает в совершенстве. Из квартиры моей можно выйти задним ходом, и я иногда незаметно крадусь к дверям, но я не могу не обернуться, и, обернув-

шись, я читаю в глазах его печальный вопрос: «Достойно это тебя?»

Ну, чорт с тобой,—говорю я тогда,—собирайся, живей!... Или что-нибудь в этом роде.

Он бывал и в клубе и поднимался по лестнице с таким важным видом (ни дать, ни взять какой-нибудь почтенный член клуба), что посетителям становилось не по себе... Не помню, у кого я купил его... Кажется, объявление о нем я вырезал из юмористического журнала. Знаю лишь, что дача из восьми комнат обошлась бы мне не более той суммы, которую я заплатил за него...

Он был уже взрослым псом, когда я имел глупость познакомить его с игрушками. Я купил одну игрушку на улице,—купил ее для собственного моего развлечения. Это была молодая мать, подбрасывавшая своего младенца одной рукой и подхватывавшая его другой... Я сидел перед камином и тешился этой милой семейной идиллией, когда услышал за моим креслом странные звуки. Я обернулся и едва узнал благородную грустную физиономию моего пса в этом широком зверином оскале. Я испугался и хотел было спрятать игрушку, но он строго дернул меня за рукав и дал мне понять, чтобы я продолжал... Звериные звуки вырывались у него каждый раз, когда женщина фроняла младенца, но игра эта, видимо, чрезвычайно увлекала его... Он шумно

лакал воду, чтобы унять свое возбуждение. Он забыл все свои пристойные, степенные манеры, и восторженно тискал игрушку лапами, уложил ее спать с собою, ночью с'ел ее и на следующий день искал с такой тоскою, что я должен был выйти из дому и купить ему крестьянина с косою... После крестьянина с косою были у нас еще—мальчик в черных сапогах, пьяница с бутылкой, пушистый кролик, умеющий пищать, и все эти игрушки исчезали так же таинственно, как молодая мать с младенцем. Но я не решился высказать ему мои подозрения. Он и сам что-то подозревал, и его чувствительное сердце было бы уязвлено, если бы я подтвердил его подозрения...

Хозяйка игрушечного магазина, куда мы ходили с Портосом, полагала, что я покупал игрушки для маленького мальчика, и называла его «ангелочком» и «крошкой»... Портос же в это время, важно вытянувшись, стоял рядом со мною... Эта женщина—добрейшая душа—страдала некоторой многоречивостью...

— Ну, как сегодня ваш ангелочек?—начинала она с сияющим, приветливым лицом.

— Хорошо, очень хорошо...—отвечал я, и крепко сжимал ошейник Портоса.

— Такая ветреная погода... Это не действует на его аппетит?

— Нет, нет, ничуть... (Она была бы немало

изумлена, если бы узнала, что «ангелочек» с'ел в обед баранью голову, большой круглый хлеб, три кочна капусты и вдобавок подозревается еще в похищении бараньей ноги).

— Он, вероятно, очень любит свои игрушки?...

— Всюду таскает их с собою...

— Вот... набор токарных инструментов...

— Не подойдет...

— А любит он копаться в земле, ваш малыш?

— Его любимое занятие... (когда-нибудь откопаем баранью ногу!)

— Тогда не возьмете ли эту хорошенькую лопаточку и ведро?

Раз она уговорила меня купить модель Кентерберийского собора, и когда мы вернулись домой, Портос без обиняков высказал мне свое суждение об этой игрушке... Он ненавидит фребелевские затеи, и так как хозяйка этого магазина горячая сторонница системы Фребеля, то мы стали ходить в другие игрушечные лавки. За лошадью-качалкой мы пошли в Нижние Ряды... Сколько раз мы шатались в немом восхищении перед этими очарованными дворцами—Портос и я, Давид и я, Давид, Портос и я. Говорят, что это магазины дурного тона... Не понимаю, что в них дурного. Или то, что входы к этим пленительным храмам радости всегда облеплены оборванной детворой?.. Есть два входа в ряды, — один

парадный, со Стрэнда*), и другой—более романтический, с переулка, где Давида, выходящего из магазина с волшебным фонарем, встречает толпа восторженных маленьких оборвышей...

А теперь, мимые ряды, вас обрели на гибель, и вместо вас, будет здесь не то ресторан, не то помещение для скопища ростовщиков, что-то грубо-полезное, нужное людям... И все очаровательные вещи должны исчезнуть отсюда!

Ноевы ковчеги впикиваются один в другой и укладываются в ящики вместе с заводными лошадьми в сбруе... Воины с ранцами целуют ручки у своих красоток, которые тоже бегут отсюда... Четвероногая публика толпится вокруг слона, нагруженного гостинной мебелью... Птицы машут крыльями. Человек с косой прокладывает себе дорогу сквозь тесную толпу. Воздушные шары вздрагивают на туго-натянутых нитках, тихо покачиваются суда с поднятыми парусами... Все готово к отплытию...

Лошадь мы купили еще в Нижних Рядах... Портос, полагавший, что она покупается для него, поглядывал на нее с гордостью и некоторой тревогой... Но лошадь была отправлена анонимно в маленький деревянный домик... Несколько дней спустя, я, к большому моему неудовольствию, встретил в Кенсингтонском парке мужа

*) Улица в Лондоне.

Мэри и счел долгом спросить, как он назвал свою маленькую девочку...

— Это мальчик,—ответил он с нестерпимым добродушием.—Мы назвали его Давидом...

И со свойственной ему бестактностью, спросил, как я назвал моего мальчика.

Я тряхнул перчаткой.

— Тимофей!—ответил я.

Я видел, как он подавил улыбку, и горячо заметил, что Тимофей такое же красивое имя, как и Давид...

— Мне это имя очень даже нравится,—поспешил он заверить меня и выразил надежду, что мальчики наши будут друзьями.

Меня подмывало сказать ему, что вряд ли я разрешу Тимофею водить знакомство с детьми того круга, к которому принадлежал Давид... Но я сдержал себя и холодно выслушал его рассказ о том, как Давид заливается, когда ему рассказывают, что его пальчики это поросята, которых гонят на рынок... Он хвастал также весом Давида, как будто единственное назначение маленьких детей в том, чтобы служить предметом внимания для весовщика. И ни слова больше о Тимофее. Постепенно это стало раздражать меня. Можно было подумать, что Тимофей—маленькое ничтожество, недостойное того, чтобы его упомянули хотя бы одним словом. Я должен был заступиться за него, и завел было

речь о зубах... Но почувствовал тотчас нетвердую почву под ногами и перевел разговор на более знакомый мне предмет, как детские нагрудники и общее развитие детей... Художник так интересовался моими замечаниями и обнаруживал такую необычайную для мужчины осведомленность о детях, что я скоро ступал перед ним и удивлялся только какого чорта он так внимательно слушает меня?

Как я упоминал уже, он рассказывал мне перед тем историю о каком-то анонимном друге.

— Представьте себе, — сообщил он мне, — прислал Давиду лошадь-качалку!

— Что же в этом необычайного? — заметил я.

— Подумайте, — сказал он, — лошадь для трехмесячного ребенка!

— Стремена сделаны так, что их можно приладить ко всякой ножке, — едва не выпалил я с бешенством, но счел более благоразумным посмеяться вместе с ним. Мне было, однако, тяжело услышать от него, что Мэри смеялась, хотя одному Богу известно, как много раз я сам смеялся над нею.

— Но женщины — странные существа, — неожиданно сказал он и объяснил почему... Мэри, видите ли, вдруг перестала смеяться и сурово заметила ему: «смеяться тут нечему»... Потом торжественно чмокнула лошадь в нос и сказала:

«Как бы я хотела, чтобы он был здесь и видел, как я целую лошадь».

Нет, бывают мгновенья, когда нельзя не чувствовать симпатии к этой Мэри...

Но только мгновенья, потому что следующее ее замечание опять выставило ее в самом неблагоприятном свете. Он сообщил мне, между прочим, что она дала себе слово узнать во что бы то ни стало, кто этот господин Аноним...

— Это вряд ли удастся ей, — сказал я с нервным смехом.

— Тогда это будет первой ее неудачей, — ответил он.

— Но, ведь, она ничего об этом человеке не знает.

— А вы бы послушали, как она говорит о нем... Уверяет, что это очень милый чудаковатый старый холостяк.

— Старый? — воскликнул я.

— Да... Она говорит, что он скоро совсем состарится, если не подтянется немного... Во всяком случае, холостяк, и очень любит детей, но у него никогда не было ребенка, с которым он мог бы играть...

— Да если бы и был, не сумел бы играть с ним, — резко заметил я, — забыл уже, вероятно, как забавляют детей... Да? Только ли умел бы, что глазеть на него?..

— Да, но лишь в присутствии родителей...

Сна уверена, что если бы ребенок остался на его попечении, он отлично справился бы с ним.

— Что за чорт...—начал я.

— Так она говорит...—добавил он, как бы извиняясь.—Это она, я думаю, просто из чувства благодарности к нему...

— Подумаешь!—сказал я, но мне стало как-то не по себе, а когда я опять встретился с ним, он прямо меня напугал.

— Не знаете ли вы случайно человека,—спросил он,—у которого есть большой сен-бернар?

— Нет,—ответил я и взмахнул тростью.

— У него сен-бернар!..

— Как вы это узнали?

— Она это узнала.

— Каким образом?

— Понятия не имею.

Я поспешил распрощаться с ним, потому что Портос был в нескольких шагах от меня...

История эта начала меня пугать, но я тотчас принял меры, чтобы отразить опасность... Я нанял человека для прогулок с Портосом в Кенсингтонском парке и дал ему следующие инструкции: «Если вы заметите, что за вами идет молодая женщина с подержанной детской коляской, тотчас же кликните полицейских и скажите, что она, очевидно, намерена украсть собаку»...

Не угодно ли, Мэри?

— Кстати,—сообщил мне ее супруг при следующей встрече,—лошадь, о которой я говорил вам, стоит при гинее.

— Она пошла в лавку справляться об этом?

— Нет, не об этом, а о внешности покупателя...

О, Мэри, Мэри!..

И вот какое описание внешности этого покупателя дали ей в Нижних Рядах: высокий, солидный господин, довольно хорошо одет, с военной выправкой... Прямой римский нос (совершенно верно!), редкие волосы, тщательно, ровно, как скрипичные струны, расправлены по обе стороны пробора, для того, вероятно, чтобы их казалось больше (фуй!) прежде, чем сесть, смахивает платком пыль со стула и, вообще, у него манеры старой девы (хотел бы я знать, какие, например!), томительно-учтив, но не очень общительный; лицо угрюмое; лет сорока пяти (ложь); ходит всегда с большим желтым псом, у которого печальные глаза (они думают, что красные веки—это печальные глаза).

— Не знаете ли такого человека?—невинно спросил меня муж Мэри.

— Дорогой мой,—ответил я,—да почти все мои знакомые более или менее подходят под это описание.

И это была правда: у нас, в клубе, мы с годами все становимся похожи друг на друга. Но

в общем, я остался доволен этим разговором, так как узнал, каким образом она проводала о моем сен-бернаре... Однако, когда я в один прекрасный день увидал из-за занавески Мэри, пытливо взглядывавшуюся в мои окна, мною вновь овладело беспокойство. Она остановила какую-то няню с ребенком и рассыпалась перед ним в восторгах. Я был уверен, что она спрашивала, не зовут ли ребенка Тимофеем... И если его зовут иначе, то не знает ли она другой няни, которая нянчит Тимофея...

Подозрения Мэри, очевидно, пали на мою особу. Однако, я ухватился за мысль о Тимофее, и вместе с тем, мне хотелось знать о нем больше того, что я знал, потому что я все встречался случайно с другим отцом, и он всегда останавливал меня для того, чтобы поговорить о наших мальчиках... И предлагал такие интимные вопросы: как Тимофей спит, как он просыпается, как вновь засыпает, в чем мы его купаем... Хорошо еще, что у детей и у собак много общего—и потому я мог рассказывать ему про Портоса.

Как он спит (спокойно), как вновь засыпает (прижав лапку к носу); и только насчет бани я не распространялся (Портоса мы купаем в карболовом растворе и трем жесткой щеткой).

Человек этот нисколько меня не подозревал, и я надеялся, что и Мэри тоже окажется великодушной. Но тем не менее, я был настороже. Воз-

можно, что она лишь собиралась с силами, чтобы неожиданно совершить на меня нападение, и это еще больше привязывало меня к Тимофею. Я точно боялся, что она оторвет меня от него. Так оно в самом деле и случилось.

VI.

Удар.

Это было в майский день... Я видел из моего окна, как Мэри, проводив своего мужа до первого перекрестка, долго махала ему платком, словно он собирался плыть через Атлантический океан. У нее было лицо счастливой жены, которая намеревалась отправиться прямо домой и ждать победного возвращения своего супруга. А господин с военной выправкой, следивший за нею с грустной улыбкой, догадывался, что это просто страшилка из руководства к «Семейному счастью»... О, Мэри, вы не проведете меня этими маленькими хитростями!..

Как только она потеряла мужа из виду, она мгновенно преобразилась в совсем другую женщину. Теперь это была деловитая, расчетливая барыня. Она осторожно оглянулась на все стороны, с'ежилась, стала вдруг маленькой, невзрачной и с таинственным видом поспешила куда-то...

«Вот чертовщина!»—подумал я и пошел за нею.

Она часто взглядывала на свои часики, как человек, опасавшийся пропустить свидание, и смотрела на них долго, словно это были часы исключительные, указания которых можно было понять лишь после долгих вычислений.

Раз она даже поднесла их к губам.

Я знал давно, что она обожает свои маленькие часики, которые он подарил ей, кажется, в тот день, когда я обронил письмо,—но чего ради она целует их на улице? И зачем она так теплопривно прячет их за пояс, словно это преступление—целовать сегодня, или когда вздумается, часы, подаренные мужем?..

От беспечных мыслей я скоро, однако, перешел к томительному состоянию. Зачем она привела меня за собою на эту улицу, с рядами дешевых пестрых лавок? Она ни в одну из этих лавок не вошла, но медленно, с'еживаясь под взглядами прохожих, прошла по улице раз и другой—истое олицетворение стыда!.. Мне в голову никогда не приходило, что это приятное лицо может гореть стыдом. Если бы я подошел к ней и назвал ее по имени, она, наверно, сквозь землю провалилась бы.. Но я шагал по другой стороне улицы и ждал. Я тоже ждал чего-то, и гадал—мужчина это или что-нибудь

другое?—и, кажется, даже сжимал в руке мою трость...

Неужели я заподозрил в чем-то Мэри? О, ни на одно мгновенье! Но во всем этом было что-то дикое. Она пришла, судя по этой робкой таинственности, без ведома своего мужа, на свидание, которого она боялась и о котором не решалась ему сказать. Ей грозила, очевидно, какая-то опасность. И надо было эту опасность устранить, не ради себя, но ради него... Ничего такого, что надо было бы скрывать, Мэри совершить не могла... Но какие такие проступки тяжкие мог совершить этот милый юноша?.. Неужели его смех пережил бы бесчестье? Открытый взгляд, буйные кудри, милая улыбка, тысячи располагающих черточек, которые мы удерживаем из детства, могут еще оставаться при нас, когда чистота, невинность исчезают из души... Но смеху, юному весеннему смеху нет уж тогда места в ней... Только над смехом не властны злые силы...

А Мэри все ждала... От красоты ее и следа не осталось. Стыд жег ее лицо—она была безобразна... В этом виноват был ее муж. Я проклинал его... Но без убеждения, потому что, в конце концов, что я знаю о женщинах?.. У меня сохранились кой-какие смутные воспоминания, мелькали нелепые догадки... И, однако, у меня сомнения не было в том, что Мэри привело сюда какое-то трогательное желание сделать что-

то хорошее, но чего, быть может, лучше было бы не делать—потому что это пугало ее... Вернись домой, глупая, мягкосердечная девочка—никогда, ни словом не проговорюсь я о том, что видел... Упрямщица! Она видит перед собой его лицо в минуту расставания... оно сияет светом мастерской, в которой он рисует, и, несмотря на все разочарования, все лелеет свои гордые мечты...

Это сияние—приданое, которое она принесла ему, и пока сомнения не одолевают его, он — сильный, богатый человек...

Так страстно хочется ей вернуться домой и она не может решиться... Время от времени она делает несколько стремительных шагов, словно решается, наконец, уйти с этой ненавистой улицы, и останавливается и возвращается обратно, как птичка на приманчивый зов куницы.

Что за безумие! Женщина, уходи отсюда!

Наконец, она решилась. Сделала над собою нечеловеческое усилие, испуганно оглянувшись кругом и вошла в ссудную кассу.

И я все понял—прежде еще, чем она вышла оттуда, понял в тот самый миг, когда за нею хлопнулась дверь... И почему она выбрала, бедная, эту улицу, где никто ее не знал, почему так растерянно пробегала мимо этой отвратительной кассы, прежде чем решилась войти в нее, и отчего она так часто поглядывала на свои часы, которых ей не придется, быть может, видеть

больше... Ей так тяжело было вести свое маленькое хозяйство, но в присутствии мужа она всегда улыбалась, он и знать не должен был, куда уплывают ее скромные безделушки...

Пускай это чудовишно, но я почувствовал облегчение. И даже когда Мэри убежала от лавки, где оставила свои часы, и я заметил, как она осунулась и похудела, — даже в эти минуты мне легко было на душе... И не спеша вслед за нею, я медленно побрел домой, напевая какую-то песенку, но без слов, потому что никогда слов ни одной песни запомнить не мог. Я видел издали, как Мэри зашла в другую лавку, в лавку детского белья. Было ясно, как день, для чего она продала свои часы... Но мне-то какое до этого дело? Я беззаботно тянул свою песенку... Я замахнулся тростью на фонарный столб и не попал... Но уличный мальчишка весело рассмеялся моей неудаче: я подмигнул ему и сунул ему монету за ворот...

Я избрал бы, вероятно, самый легкий путь, если бы у меня было для того достаточно времени, но судьбе угодно было, чтобы я встретился с мужем на его обратном пути домой... И первый же его вопрос подсказал мне шальной ответ.

— Как поживает Тимофей?—спросил он.

И вопрос этот внезапно открыл мне такую пленительную перспективу, перед которой не ма-

жет устоять человек, томящийся в своем будничном существовании мечтами о чем-нибудь необыденном и новом...

— Тимофей умер! — вырвалось у меня.

Художник был так поражен, что едва в силах был выразить мне свое соболезнование, и я тоже почувствовал, как сердце у меня упало, Этими необдуманными словами я, действительно, похоронил моего мальчика... Все мои мечты о Тимофее, все мои усилия оградить его от презрительных усмешек Мэри развеялись в это мгновение, как дым...

VII.

Заключительное слово о Тимофее.

Читатель догадывается, вероятно, что я затем лишь отправил Тимофея на тот свет, чтобы отдать Давиду все его рубашечки, нагруднички и туфельки; и пенять на меня за то, что я расстроил художника, право, не следует... Несмотря на все его неподдельное сочувствие, я видел, однако, что расспросы его подсказываются ему отчасти эгоистическим желанием отразить от себя такой же удар судьбы... Таковы все родители...

Он участливо спросил, не может ли что-нибудь сделать для меня... Конечно, он мог бы кое-чем быть мне полезен, но я не сомневался, что

скажи я ему это, и он бы вспыхнул, как спичка... Я имел уже все основания считать его за гордое, обидчивое животное, способное ошתיниться при первом намеке на благотворительность.

Надо было ждать, чтобы он сам предложил... Я говорил о вещах, оставшихся в доме, о том, как тягостно мне видеть их, и он пожал мне руку, глубоко растроганный, хотя в это мгновение, наверно, видел перед собой и другой дом, и другие детские вещи. Мне совестно было волновать его, но у него не было избытка в этих вещах... А потому, мои признания меня самого разжалобили, и я не мог уже молчать... Не могу же я продать эти вещи. И нищим не могу отдать их — кто знает, какое еще употребление сделают из этих вещей люди, которых я не знаю... Я рассказал ему также об одном моем друге, отце маленького ребенка, который отказался от этих вещей... Они и ему тоже всегда напоминали бы о Тимофее... Это, наконец, задело художника за живое, и он сделал предложение, которого я ждал...

Мне нелегко было добиться этого, и я злился на него и на себя... Я всегда был неловкий, ненаходчивый человек, но раз затеяв что-нибудь, я никогда на полдороге остановиться не мог.

Жизнь Тимофея, как вы, быть может, догадываетесь, всегда висела на волоске, и я знал, что

дни его сочтены... Его даже на воздух нельзя было выносить. Как мог он развиваться и жить при таких условиях...

Когда час его пробил, я почувствовал даже облегчение. Я вспоминал, с какой нежностью я поднес его в этот день к окну—посмотреть на заходившее солнце, которое унесло его с собой... Я с горечью говорил ему, что он должен уйти из этого мира, так как все его хорошенькие рубашечки и туфельки нужны другому ребенку, и когда солнце, истинный отец его, приняло его в свои трепетные объятия, он улыбнулся на прощанье одной даме, для которой находил всегда такие милые, нежные имена, не ведая в невинности своей, что у маленьких белых птичек никогда не бывает матерей... Мне хотелось—так сильно овладела мною мечта о Тимофее,—чтобы и он играл в Кенсингтонском парке, прежде чем перейти в иной мир, ездил верхом на сухих ветках и ликующими криками звал меня любоваться им... Мне хотелось, чтобы он пускал бумажные пароходы в Круглый пруд и гнал бы обручи по веселым дорожкам беззаботного детства... По этим дорожкам бегали когда-то и мы, давно, давно, в светлые летние дни, пока не вынырнули вдруг на другом конце взрослыми мужчинами, взрослыми женщинами, успевшими уже расплатиться за все свои детские утехы... И мне казалось (эта мучительно сладостная мысль не-

отступно со мною в моих одиноких комнатах), что он догадывался о моей грусти и, страдая в своем мальчишеском самолюбии, давал мне понять, что не делал всего этого вовсе не из трусости, ему даже очень хотелось делать все это,—но потому, что он не похож на других мальчиков... С этими словами, он выпустил мой палец из своей ручки и на моих глазах перешел в другой таинственный мир... Но я знаю, если бы он и похож был на других мальчиков, все равно—лучше его не было бы во всем мире...

Я начинаю, однако, сомневаться в себе самом—я не чувствую в себе внутренней отзвиги, хотя наружно как будто и вполне владею собой...

Когда я на следующий день решил пойти купить гардероб Давиду, я внезапно—так же оробел, как Мэри перед входом в ссудную кассу... Я струсил уже у самых дверей магазина детских вещей... Мужчину внезапно становится отцом—это должно бы усилить в нем чувства достоинства и веры в себя, но у меня... у меня не хватило смелости войти в магазин... Я давно уже перестал бороться с отвращением, которое внушали мне всякого рода магазины, за исключением мастерской моего портного, у которого я, кажется, бываю даже слишком часто.

Я топтался возле бельевого магазина, размышляя почему-то: вот уже три часа; если бы

я решился полчаса тому назад, все было бы уже кончено...

В то самое мгновение, когда я храбро двинулся, наконец, к двери, я увидел вдруг очень приличного господина, пристально,—по крайней мере, так мне показалось—смотревшего на меня. Я отпрянул назад, но, обернувшись, увидел его все на том же месте. Для меня было ясно, как день, что он каким-то образом пронюхал о моем намерении. Всеми силами сдерживая закипающий во мне гнев, я поклонился и с ледяной утихомирностью сказал:

— Вы, очевидно, раньше меня стали в очередь.

— Прошу прощения...—ответил он.

Я убежден теперь, что мои слова только обратили его внимание на мою особу, но тогда я не сомневался в том, что за его ответом таится какая-то задняя мысль.

— Я не имею удовольствие знать вас,—выпадал я.

— Очень жаль,—ответил он, смеясь.

— Должен заявить вам, милостивый государь,—сказал я,—что буду ждать здесь до тех пор, пока вы не уйдете.

И прислонился спиной к косяку витрины.

Тогда, наконец, он вышел из себя и бросил: «Я здесь свиданья никому не назначал».

И тоже прислонился спиной к другому косяку

витрины. Каждый из нас твердо решил взять другого измором, и вид у нас, вероятно, был презабавный. Мы скоро, впрочем, почувствовали это. Несколько минут спустя, когда страсти наши улеглись, мы сердечно пожали друг другу руки и кликнули извозчиков.

Но неужели отказаться от моего намерения? У меня было, правда, много знакомых дам, которые охотно сделали бы для меня эти покупки... Но пришлось бы рассказывать и объяснять, а я всегда предпочитаю обходиться без объяснений... Я был уже в отчаянии, когда меня осенила вдруг мысль об Ирэн и м-с Хикинг... Я увидел в них и силов и приманку, годные для моей цели, которая заключалась в том, чтобы купить приданое Давиду.

Но надо вам рассказать, кто такие Ирэн и м-с Хикинг.

VIII.

Неосторожный слуга.

То были жена и дочь Вилльяма, одного из наших клубных лакеев, в котором мне пришлось жестоко разочароваться впоследствии. Сколько раз я ждал, когда он подавал обед другим гостям, для того лишь, чтобы пользоваться услугами этого неблагодарного олуха. Я ценил его

старания удержать для меня столик у окна, и за это, с своей стороны, оказывал ему кой-какие знаки внимания. Я позволял ему подсказывать мне выбор блюд. Однажды я пожаловался ему на одного члена клуба, который шумно хлопнул дверью читальни и напугал меня: в другой раз я показал ему, как порезал палец бечевкой.

Этот Вилльям не принадлежал к числу слуг, обладающих собственными мнениями. В его присутствии можно было спокойно составлять заговор для совершения убийства... Однажды один из наших членов сказал ему, что Соуси Сара возьмет первый приз на Дерби, а другой, что у Соуси Сара нет никаких шансов, и Вилльям выравил полное свое согласие с одним и с другим. Он напоминал мне, этот чудесный малый — в душе я всегда считал его таковым — манильскую сигару, которую можно курить с обеих сторон...

Печальная перемена началась в нем, помню, с одного летнего вечера.

Я обедал, по обыкновению, за столиком у окна и два раза уже повторил:

— Почки под красным соусом...

Вместо того, чтобы ответить с принятой предупредительностью вышколенного слуги: «Слушаю-с, сэр», — и дать мне понять, что выбором почек под красным соусом я доставляю ему особое удовольствие, он напряженно смотрел в окно и, вдруг вздрогнув, спросил:

— Вы сказали, сэр, почки под красным соусом?

Несколько минут спустя я почувствовал, что кто-то опирается на спинку моего кресла...

Можно представить себе мое негодование, когда я увидал, что это не кто иной, как Вилльям... Вот что произошло вслед затем... Он хотел наклониться зачем-то ближе к окну и позволил себе не больше и не меньше, как опереться о мое плечо.

— Вилльям, — сказал я, — вы, повидимому, не замечаете меня...

Надо отдать ему справедливость — он тотчас испуганно отдернул руку, но никогда не забыть мне его дерзкого оправдания:

— Извините, сэр, я думаю о чем-то другом...

И опять уставился в окно и вдруг заговорил взволнованно и страстно:

— Ради Бога, скажите — что же мне от вас тантятся, все мы люди — скажите, не заметили вы, не заглядывала тут в окна одна девочка?

Все мы люди... Но он был когда-то отменный, исполнительный лакей, и я указал ему на девочку. Едва она заметила его, как выбежала на середину Пэль-Мэль. Не обращая никакого внимания на экипажи (мне казалось, что несколько экипажей переехали через нее), она выразительно кивнула три раза головкой и исчезла... Это была препотешная грязная маленькая смутляноч-

ка, лет десяти. Вилльяму ее появление принесло заметное облегчение.

— Славу Богу! — несдержанно громко воскликнул он.

Если бы он опрокинул миску с супом на мои брюки, я и тогда, вероятно, не обозлился бы на него так, как в эту минуту.

— Принесите хлеб, Вилльям! — резко бросил я ему.

— Вы на меня не сердитесь, сэр? — имел он еще наглость осведомиться, — правда, тихим дрожащим голосом.

— Это была вольность, — сказал я.

— Я знаю, сэр, но я был вне себя...

— И это тоже вольность...

— Моя жена, сэр, она...

Вилльям, этот Вилльям, которому я выказывал столько благосклонности, был, оказывается, женатый человек... Это была уже самая непозволительная вольность...

Я видел, что Вилльям чем-то; очевидно, тяжело озабоченный, едва держится на ногах, и так как после вкусного обеда хочется верить, что на свете мало горя и печали, мне захотелось услышать от Вилльяма, что эти знаки означают улучшение здоровья его жены... Но он, совершенно не считаясь с тем, что мне приятно было бы услышать, ответил, что, наоборот, доктор опасается наихудшего исхода,

— Подумаешь — доктор! — промолвил я с гневом.

— Да, сэр...

— А чем она больна?

— Она всегда была деликатного здоровья, но очень живая... И, видите ли, сэр, она недавно родила девочку...

— Вилльям, как вы смеете... — начал было я, но тотчас же сообразил, что этот папаша может быть мне полезен.

— А как спит ваш ребенок? — тихо спросил я. — Как он просыпается? В чем вы его купаете?

Я прочитал изумление на его лице и, не дожидаясь ответа, поторопился добавить:

— Эта девочка, очевидно, приносит вам вести от вашей жены?

— Да, сэр, каждый вечер. Это моя старшая дочурка... Три кивка означают, что маме немного лучше...

— Сегодня было три кивка?

— Да, сэр...

— Вы живете, вероятно, в каком-нибудь грязном квартале, Вилльям?

Наглец смерил меня таким взглядом, словно намеревался ударить по голове.

— В Дрюри-Лэйн *), — ответил он, вспыхнув, — это не грязный квартал. — Он помолчал немного

*) Рабочий квартал Лондона.

и добавил со вздохом:—Она все боится, что умрет, когда меня не будет подле нее, чтобы держать ее руку...

— Она не должна говорить подобных вещей.

— Она и не говорит, сэр.. Она всегда успокаивает меня и уверяет, что ей лучше, когда ей вовсе не лучше. Я читаю это в ее глазах, уходя утром из дому, и она смотрит на меня с кровати, а я смотрю на нее с порога... О, Господи—если бы вы знали, сэр!

— Вильям!

Он догадался, наконец, что я сержусь... И надо было слышать, как он извинялся передо мною и старался отвлечь мое внимание от своей жены, как от неудачного блюда... Я пытался забыть за бильярдом все, что он наговорил мне, но играть не мог... Ему удалось таки расстроить меня... И на следующий день, я, в наказание ему, заказал обед через другого лакея. Но я сидел у окна и не мог не заметить, что девочка опоздала, и так как мне торопиться некуда было, то я не вставал из-за столика, пока она не пришла. На этот раз она не только кивнула три раза, но помახала своей шапочкой, и тогда я встал.

Вильям нерешительно приблизился ко мне.

— У нее, сэр, температура понизилась,—сказал он, взволнованно потирая руки.

— Кому вы это докладываете? — холодно

спросил я и быстро прошел в бильярдную, где блестяще провел две партии...

Вильяму я дал понять, что болтовню его забыл, но за девочкой следил каждый вечер... Однажды она, против обыкновения, не кивнула, а лишь покачала головой, и в этот вечер я не мог положить ни одного шара. На следующий день Вильяма не было в столовой, и я догадывался о том, что случилось в этот день. Я уныло побрел в читальню и, к удивлению моему, застал там Вильяма, смахивавшего пыль с книжных полок. Комната была в нашем распоряжении—несколько членов, сидевших в креслах с книгами в руках, крепко спали, и Вильям сошел с лесенки, чтобы рассказать мне свою потрясающую повесть. Он выругал члена клуба...

— Я сам не двой сегодня, сэр, я оставил ее сегодня утром в таком состоянии...

Я топнул ногой.

— Простите, что я опять рассказываю вам о ней...—догадался он добавить.—Но Ирэн обещала приходить каждые два часа... В четыре часа она прибежала с заплаканным лицом. Я совсем обалдел и нечаянно толкнул м-ра Б... А он на меня как закричит: «Чорт бы вас побрал!..»—В конце концов, я только едва-едва толкнул его, и меня так задела его брань, что я совсем потрял голову и ответил:

— Чорт бы вас побрал!..

Он опустил горевшее от стыда лицо, и мне показалось в это мгновение, что некоторые из спавших читателей вздрогнули во сне...

— Я тотчас ушел из столовой, — продолжал Вилльям, — и вот торчу здесь, пока совет решит, как поступить со мной... О, сэр, я готов броситься на колени перед м-ром Б...

Что мог я чувствовать, кроме презрения к человеку, способному на такое унижение из-за какого-то фунта в неделю?

— Если я скажу ей, что потерял место, — она тотчас же умрет.

— Прошу вас не говорить со мной больше об этой женщине, — сердито сказал я, — до тех пор, пока не сможете говорить о ней спокойно.

П, предоставив его воле рока, пошел разыскивать м-ра Б.

— С чего это вы вдруг выругали лакея? — спросил я.

— Вы хотите сказать, с чего это вдруг лакей выругал меня? — ответил он, вспыхнув.

— Вот как!.. Ну, тогда я очень рад, — ответил я. — Я не мог никак поверить, чтобы вы способны были на такую непристойную выходку... Мне передавали, что вы друг друга выругали, и что его уволят, а вам сделан будет выговор...

— Кто вам это сказал? — спросил м-р Б., человек по природе очень робкий.

— Да, ведь, я состою в совете, — небрежно

ответил я и заговорил о чем-то другом. Но м-р Б. рассеянно слушал меня и, наконец, сказал:

— Знаете, а ведь мне могло и послышаться, что он меня обругал... Я завтра же возьму свою жалобу обратно...

Я был очень рад, что история эта уладилась без моего заступничества за Вилльяма.

Из читальни, выходящей окнами во двор, он никак не мог видеть Ирэн. Но я видел ее из окна столовой. Не видя Вилльяма, она никаких знаков не делала, и, раздраженный ее недогадливостью, я вышел на улицу и спросил, как здоровье ее матери.

— Ох! — воскликнула она и, внимательно оглядев меня с головы до ног, добавила с восторженной почтительностью: «Вы, верно, один из тех?» — Не трудно было представить себе, какими красками Вилльям расписывал им великолепие нашего бытия...

Большая чувствовала себя немного лучше, и девочка прибежала лишь затем, чтобы передать отцу, что мать съела всю тарелку супа из тапиоки... Я дал замарашке шиллинг и вернулся в клуб с осадком безразличного чувства в душе.

— Кстати, Вилльям, — сказал я, — м-р Б. хочет заявить совету, что ему, должно быть, послышалось, будто вы его обругали, и завтра вы, вероятно, опять будете служить в столовой...

И хотел уже добавить: «Советую вам больше не забывать, Вилльям...»

Но Вилльям тихо и твердо сказал:

— М-р Б. не ослышался... я, действительно, обругал его...

— Джентльмен, — холодно заметил я ему, — никогда не запоминает надолго слов лакея...

— Но, сэр, ведь...

Чтобы прекратить, наконец, его рассуждения, я сказал:

— Да, вот что, Вилльям... Жене вашей лучше... Она с'ела таниоку—всю тарелку...

— Откуда вы это знаете, сэр?

— Совершенно случайно узнал...

— Ирэн показала это знаками в окно?

— Нет...

— Так, значит, вы заметили ее и вышли на улицу и...

— Как вы смеете, Вилльям...

— О, сэр, я никогда этого не забуду... Благослови вас...

— Вилльям!..

Его опять водворили в столовой, но каждый раз, когда глаза мои случайно останавливались на нем, я видал образ умирающей жены на его лице, и потому наши отношения оставались натянутыми. Девочку, однако, я наблюдал каждый вечер.

Мимика ее была удивительно выразительна, и

я знал, что больная во вторник опять с'ела до-чиста полную тарелку супа, а в среду яйцо в смятку (надо было видеть, как Ирэн постукивала посреди Пэль-Мэль по скорлупе этого яйца и как она его солила)—и знал, что в четверг больной опять было очень худо...

— Что, мисс Ирэн, опять худо сегодня вашей маме?—спросил я однажды девочку, отозвав ее подальше от окон клуба.

— Ах! — воскликнула она, как и в первый раз... И обменялась восторженным взглядом с другой девочкой поменьше, которую отрекомендовала мне, как свою соседку.

Я равнодушно ждал ответа. Жена Вилльяма, как я узнал от девочки, утром выглядела словно мертвая, но ей дали выпить водки, и она пришла в себя.

— Молчи, глупышка!—рассердился я.—Откуда ты можешь знать, как выглядят мертвые.

— О, Господи!—ответила она.

С помощью подсаживавшей ей подруги, на которую ее близость со мной произвела, видимо, ошеломляющее впечатление, она сообщила мне кучу всяких сведений о своем отце... Я узнал, что фамилия Вилльяма—м-р Хикинг, и что все соседи говорят,—ему следовало бы уходить из клуба раньше двух часов утра, потому что жене своей он нужнее, чем в клубе... А Вилльям на это отвечает,—что делает ему честь,—что если бы в клу-

бе оставалось мало прислуги в часы, когда гости ужинают, то сколько же им пришлось бы дожидаться каждого блюда? Он сидит подле своей жены почти всю ночь напролет и уверяет ее, что высыпается днем в клубе... Говорят они больше всего о маленькой... А маленькая находится в другом конце Лондона, у одной старухи, потому, что на той улице, где живет Ирэн, свирепствует эпидемия...

— А что говорит доктор?

— Он говорит, что она, быть может, скорее бы поправилась, если бы маленькая была при ней...

— Вздор!

— И если бы она жила в деревне.

— Отчего же Вилльям не увезет ее в деревню?

— Ах... И если бы она пила портвейн...

— Ну, что же... Она пьет портвейн?..

— Нет... Но папа рассказывает ей, как члены клуба пьют портвейн...

Я не без удовольствия отошел от нее, но она пошла за мной.

— Вы бы сегодня опять! — попросила она робко и вкрадчиво, — как в тот раз... Я сказала ей, что вы... — она указала на свою подругу, смотревшую на меня с жадным любопытством, — я бы так хотела, чтобы она видела, как вы...

Я думал, что ей желательно опять получить приллинг, но тотчас понял из ее пантомимы, что ошибаюсь... Ей нужно было, чтобы я опять снял

перед нею шляпу. Я снял шляпу, поклонился и, уходя, опять оглянулся на нее: она стояла, высоко подняв голову, а подруга с благоговенным смотрела на нее. Они были восхитительны, эти две девчонки!..

Дней семь спустя, я сидел в наемном ландо и держал газету перед самым носом, дабы кто-нибудь из моих знакомых не увидел меня в обществе лакея и его жены. Вилльям вез ее в Саррей, где она должна была пожить у моей старой няни. Ирэн в яркой крикливой шапочке тоже ехала с нами...

М-сс Хикинг чрезвычайно гордилась своей маленькой девочкой, бывшей, в сущности, самым обыкновенным существом, из чего я, конечно, мог составить себе нелестное мнение об уме этой дамы. Когда ей принесли ребенка, она разыграла душераздирающую сцену, потому что, видите ли, «она боялась, что девочка не узнает ее».

Я хотел заметить ей, что это было бы в порядке вещей — ведь, они так недавно знакомы, — но не стал ввязываться в разговор. Я боялся маленькой Ирэн, которая сидела против меня, качала ребенка на руках и все время не закрывала рта. Никогда в жизни не видал я такого сорванца. Надо было слышать, какие вопросы она предлагала ребенку: «Знаешь, кто подарил мне эту шапочку?» — И сама же отвечала: «А вот — этот красивый господин»... — И несколько раз притво-

рился я спящим, потому что время от времени она вдруг заявляла: «Девочка хочет поцеловать красивого господина»...

Как это ни тягостно было для человека с уточненным вкусом, но неприятнее всего, однако, были те минуты, когда мы достигли, наконец, цели нашего путешествия и, благодаря досадному истечению всяких непредвиденных обстоятельств, мне пришлось пить чай вместе с семьей лажей. Вильям знал, что я всякое изъяснение чувств со стороны лиц его круга считаю для себя обидой, и он потому не говорил ни слова, но глаза его были переполнены благодарности. Я велел ему сесть за стол, и он сел, но тотчас вспомнил, что я член клуба, и вскочил на ноги. Нет ничего неприятнее робкого шопота, а он то и дело шопотом спрашивал свою бедную, голенькую жену: «Ну, как ты себя чувствуешь теперь? Не устала? Лучшие тебе?»—И когда она отвечала, что чувствует себя теперь совсем другим человеком, я прочитал в его взгляде, что всю ответственность за эту перемену он возлагает на меня. Ребенок из всех сил колотил мать ручонками в грудь, и по тому, как это ее тешило, я вывел заключение, что она вовсе не так слаба, как почему-то желает казаться...

Я оставался с ними дольше, чем это было необходимо. Мне надо было передать кое-что Вильяму, и я боялся, что слова мои будут не-

верно истолкованы... Но когда он заявил, что ему пора ехать обратно в Лондон, и я заметил, что жена его побледнела, я передал ему поручение.

— Вильям,—сказал я, повернувшись к нему спиной,—наш эконо́м просил меня передать вам, что вам дается двухнедельный отпуск... С сохранением жалованья...

Он опешил и раскрыл рот...

— Вильям!—яро́стно крикнул я.—Прощайте, я ухожу!..

Но тут я увидел, что жена делает ему какие-то знаки, и понял, что она желает остаться со мной с глазу на глаз.

— Вильям,—закричал я в ужасе,—не уходите!

Но он ушел, и я остался вдвоем с женщиной с влажными глазами. Женщины ее круга любят чувствительные сцены.

— Ради Бога, сударыня!—взмолился я.

Но она таки умудрилась поцеловать мою руку. На маленькую собаченку похожа была она в эту минуту.

— Вы так добры к нам,—сказала она.—Так много добра можно делать лишь в память о любимой женщине.

Она часто повторяет в разговоре со мной слова: память, воспоминания—словно моя молодость давным-давно уже отошла в область преданий, и, слушая ее, я самому себе начинаю казаться пожилым человеком.

— Я хотела бы знать ее имя, сэр,—добавила она,—чтобы поминать ее в моих молитвах...

И я сказал ей имя. Но не имя Мэри.

— Но у нее есть семья, как и у вас,—сказал я,—а у меня никого нет. Помолитесь лучше когда-нибудь за меня.



И вот этой-то женщине, теперь уже здоровой, я и поручил купить гардероб для Давида...

Помня, как художник хвастал быстрым ростом Давида, я наказал ей купить вещей для «шестимесячного мальчика и для годовалого». Она несколько удивилась тому, что я посылаю все это одному и тому же ребенку, и, конечно, не могла удержаться от самых бесцеремонных расспросов. Но она не была дамой из общества, ее не трудно было запугать надменно-строгим видом... Им обеим—матери и дочери—это поручение доставило огромное удовольствие... Я никогда не забуду, как важно выплыла из магазина Ирэн в сопровождении приказчика, несшего за нею большой пакет. Я смотрел на нее из экипажа, в котором сидели они, и подумал, что это, вероятно, самые восхитительные минуты в жизни Ирэн.

Я попросил м-сс Хикинг немного помять купленные вещи, дабы они не выглядели совсем

новыми, чему она тоже немало изумилась, но просьбу мою исполнила и прислала мне вещи в таком именно виде, в каком мне хотелось их видеть. Я послал их тогда Мэри, и весь этот вечер злорадно ликовал. Но на следующее же утро мое удовольствие сменилось огорчением. Я получил письмо, из которого увидал, что она все знает, аноним мой раскрыт, и ей прекрасно известно, что никогда у меня никакого Тимофея не было... Я растерялся. Никогда в моей жизни не был я так озадачен, как после получения этого письма. Я и сейчас еще—много лет спустя—понять не могу, как она все это развела.

Ее прозорливость возбудила во мне такой гнев, что я сунул письмо в письменный стол, и с тех пор редко беру его в руки.

Ни одна замужняя женщина не решилась бы, конечно, написать такое письмо холостому мужчине. Не стану повторять всего, что она там писала. Но в письме этом сказано было, между прочим, что она считает меня своим добрым гением. Как образчик ее неискренности, приведу лишь слова о том, что Давид ее «уже обожает меня». Она выражала также надежду, что я часто буду бывать у ее мужа, который очень гордился дружбой со мной, и намекала, что я мог бы сделать ему первый визит сегодня же, в три часа—в это время, как мне известно было, ее муж давал в городе урок рисования. Словом, ясно бы-

лю, как день, что ей очень хотелось встретиться со мной в первый раз с глазу на глаз, сочинить восхитительную возвышенную романтическую сцену и потом рассказать ее мужу со вздохами, восклицаниями и с платочком у глаз...

Она капнула также на бумагу что-то, что должно было, повидимому, показаться мне двумя слезами, но меня это мало тронуло,—я видел, что это всего только две капли воды...

Я послал ей холодное, колкое письмо, в котором ясно дал понять, что уклоняюсь от каких бы то ни было сношений с нею...

IX.

Безнадежный холостяк.

Я вижу, мне грозит опасность быть зачисленным в разряд чудаков. Перспектива эта так мало улыбается мне, что я сел за письменный стол с намерением опровергнуть по всем пунктам возведенное на меня обвинение. Но, просидев несколько часов с пером в руках, я пришел к удручающему выводу, что в этом обвинении есть доля правды.

С тех пор, как я увлекся анализом собственной моей души, прошло много времени, и я тщетно пытаюсь добраться через многие, многие ржавые двери к тому времени, когда во мне

началась перемена—если только я изменился. Мне хотелось верить, что я все тот же человек, каким казался себе самому в ту удивительную пору моей жизни, когда я, вероятно, был совсем иным, нежели теперь. Тогда я не был чудаком. Я стал им позднее, с той поры, как, вдумываясь в непостижимые для меня вещи, пришел к заключению, что никогда, никогда мне их не понять...

Я не уяснил себе в свое время, отчего, собственно, я был изгнан из рая, но с того момента, когда перестал носиться с собою, как с необычайным сокровищем, я и начал чудить, сам этого не сознавая...

Тяжело мне вспоминать сегодня ночью, каким был когда-то этот сидящий в глубоком кресле у камина человек, которого в клубе называют в шутку «безнадежным холостяком». Я помню его в двадцать четыре года... Самый блестящий офицер из всех мне известных, имеющий полное основание собою гордиться. В будущем для него не было ничего неосуществимого, он столько уже успел свершить великих дел, этот господин, нетвердыми шагами взбирающийся теперь по лестнице своего клуба.

Однако, я, кажется, начинаю рисоваться. Я знаю, что я не злой человек, безобидный, и джентльмен даже в глазах дам, улыбающихся в разговоре со мной... Число этих улыбающихся

там все растет—так, по крайней мере, мне кажется сегодня вечером... Ах, женщины! Я забыл уже, когда я впервые начал замечать эту улыбку, и когда она стала меня смущать...

Я теперь только начинаю прозревать истинный ее смысл и потому, вероятно, мне так грустно...

Конечно, вы едва поверите, если я скажу вам, что и у меня самого была когда-то очаровательная улыбка. Куда делась моя улыбка? Уверяю вас, я и не подозревал до сих пор, что от нее и следа не осталось.

Я напоминаю себе человека, который, посетив школу, где учился мальчиком, ищет по классам свой старый перочинный ножик.

В первый раз я услышал о моей улыбке от другого мальчика, сестры которого подмечали улыбки всех своих знакомых, и первое место среди этих улыбок отводили моей. Приятель мой говорил об этом с насмешливым презрением, и я просил его никому больше об этом плебисцит не рассказывать, но в душе я был очень рад и польщен. Теперь, потеряв способность улыбаться, я чувствую себя копыченным человеком... Я даже подошел к зеркалу и долго всматривался в свое лицо—не остался ли на нем хотя бы след моей давней улыбки...

Хочу верить, по крайней мере, что она со-

хранила ее в своей памяти. Она, вероятно, забыла многие мои черты, отличающие одного мужчину от другого... Но я помню, помню—как она говорила о моей улыбке. Она считала ее единственным моим украшением и показывала мне, как я улыбаюсь и как идет к ее лицу моя улыбка. Когда она бывала не в духе, она развлекалась тем, что передразнивала мой голос и мои движения, и чем смешнее удавался ей представить меня, тем больше увлечения она вносила в игру... И при этом смотрела на меня с вызовом—хватит у меня отваги остановить ее или нет, а когда начинала беспощадно высмеивать меня, глаза ее подергивались нежной мглою.

Много молодых людей ухаживали за нею, все говорили ей о любви, и она слушала их с благородной простотой, с ласковой усмешкой, так красящей женщину, любви которой домогаются много мужчин... Женщины называли ее кокеткой. Они не понимали ее кроткого благоволения к ее поклонникам, неизбежные печали, которых она предугадывала, заранее сочувствуя их сердечным ранам. Каждая боль, причиненная любовью, находила отклик в ее сердце. И если она видела проявление искреннего чувства, она, приходя в восторг, восклицала с упоением «ах!» или «ох!»,—как сластена, потягивающий вкусный напиток... Это было очаровательно и трогательно,—потому что эта женщина го-

това была броситься в объятия первого мужчины, которому удалось бы поразить ее сердце...

Она любила все красивое, и каждая красивая линия, каждая благоуханная вещь становилась частью ее самой. И она накапливала красоту изо дня в день. При ее сердце, она была воплощением нежной женственности — мысли ее подобны были лилиям, потому что добро, ведь, та же красота...

И все поклонники простили ей свои муки. Я не знаю ни одного человека, который не простил бы ее... Если бы нашелся хоть один такой, то это доказывало бы, что в ней был изъян! В минуты последних объяснений, она, вероятно, плакала оттого, что все красивые слова уже были сказаны и отзвучали, или делала горестные признания о самой себе, такие искренние, горячие и благородные, и в таком серьезном тоне, что самые трагические обожатели не могли не смеяться.

Она искала на лице влюбленного, как в зеркале, укора себе, если он протягивал к ней руки, а она отступала назад, и если он опускал руки, она с тоскою жалела его за то, что у него не хватало догадливости схватить и сжать ее в своих объятиях... Она жаждала человека, который сумел бы овладеть ее сердцем.

Да, все простили ее, потому что прощать не-

чего было, или очень мало, разве только то, что делает милую женщину еще милей, и о чем повднее многие вспоминали с нежностью, как вспоминают юноши милую радость детства... Женщины, представляющие для своих мужей все, что угодно, только не мечту минувшей молодости, вы никогда не замечали, как эти вечно занятые деловые люди с двойными подбородками вздрагивают вдруг во сне и смеются, словно откликаясь на далекий, далекий зов...

Мне часто чудится теперь ее голос. Она была очень веселого характера, и сквозь даль годов я все еще слышу ее смех. Она была пылкая, смелая и могла плакать, как Мария Шотландская о своем неумении лгать, подобно мужчинам. Я и теперь слышу ее, но это уже лишь отраженный звук ее смеха. Я вижу ее, но уже как огонек, мерцающий среди деревьев. И средних лет господин не решается приблизиться к ней... Она окружена молодежью. Были дни, когда я выдал ее во всем ее блеске. Но потом завеса заслонила ее от меня, и с того мгновения она стала мне чужой. Я долго еще наблюдал за нею, но уже не понимал ее; она долго еще бродила во круг меня, словно хотела подсказать мне, надумать меня, как бы я мог вновь добиться ее любви... Она была пленительна, как совершенное произведение искусства, и непосредственна, как первая женщина на земле. Человечество долж-

Жо было в течение долгих веков совершать благороднейшие деяния и лелеять возвышеннейшие мысли для того, чтобы могло появиться одно такое исключительное существо, как она. В ней воплотилась прекраснейшая мечта о совершенном человеке. Она была таинственна, как ночь, тихо окутывающая землю. Она была тем, что мы называем поэзией, очаровательным эльфом, играющим в голубой мгле соснового леса.

Но в действительности в ней ничего загадочного не было. Это была превосходная девушка, с благородной душой, грациозными движениями, со светлым ясным лицом, на котором можно было читать ее мысли, как в открытой книге. И вместе с тем, живая, пылкая, она подозрительно относилась к каждому мужчине, в руках которого предполагала аркан, и ничто в жизни не будило в ней такого острого любопытства, как именно этот аркан. Она дрожала от радости, когда замечала, что на нее накидывают петлю, и с упоением увертывалась от нее. Она играла с опасностью и давала иногда опутать себя, уверенная в том, что сумеет освободиться в тот миг, когда захочет. Она надменно удалялась от своих ухаживателей, хотя сердце ее жаждало быть побежденным. Она отступала на один только шаг назад и близкая им, желанная—становилась недоступной и недостижимой. И стояла с высоко поднятой головой и с ласковой улыбкой,

приветливая и нежная, как бы говорила: если можете, покорите меня!..

Весьма возможно, что старые привычки вернулись ко мне вместе с этими воспоминаниями; я опять, как прежде, удивленно всплеснул руками и прижал их к глазам... Она могла бы быть моей, если бы я сумел удержать ее любовь! Потому что я добился ее. Это было чудом—но я добился ее любви... Я ступил одной ногой в заколдованный круг, в котором она жила, и в который никто, кроме меня, не проникал. И тогда я увидел ее, как в откровении, не такой вовсе, какой видели ее другие, а какой она была в действительности... И вовсе не шалую, необузданную, странную девушку,—а милую и скромную любящую женщину... Я рассказал, однажды, что я открыл в ней, когда ближе узнал ее, и помню, она задрожала. Она, очевидно, не подозревала, что уже разоблачена... Но радость заглушила в ней все другие чувства. Она медленно и покорно подошла ко мне... Теперь она уже не была для меня загадочным, непонятным существом. Душа ее явилась передо мной, как прозрачное озеро, отражающее светло-зеленые мшистые берега...

Я понимал ее, и она любила меня. Каждая женщина, по моему, любит того, кто может ее разгадать. Другие только восторгались ею и преклонялись перед ней, но я проник в ее вол-

шебное царство и нашел в нем женщину. Я угадывал наперед каждую ее мысль и поступок. Я мог подтрунивать над ней, посмеиваться и таить перед нею, и унижаться, и она могла все это забыть, и вдруг вспомнить, и смотреть на меня с робкой улыбкой, говорившей мне, что она все понимает: я знаю и угадываю ее мысли, но терпеливо слушаю, пока она выскажет все, что ей хочется сказать... У нее были особые взгляды для меня, и особый голос для меня, и каждое движение ее пальчиков имело в глазах моих особое чарующее значение... Я любил и ее капризы, любил ее, когда она топала на меня ножкой, и при этом еще считала необходимым скрежетать зубами, как ребенок, старающийся напустить на себя страшный вид... Как она очаровательно скрежетала зубами!.. Она мучила меня, но мучительство ее обращалось для меня в счастье. А она умела мучить, это восхитительное, шалое существо. Порою она вспыхивала от изумления:—как она могла отдать кому-то свое сердце, как могла она признать чью-то власть над собою!.. Я же удивлялся только тому, что она могла отдать свое сердце мне. Я, вероятно, слишком много удивлялся. Оттого, быть может, я и потерял ее.

В полнолуние на нее находили самые дикие причуды, но я умел усмирять ее... Однажды она укусила мне руку, но все-таки послушалась ме-

ня... Никогда, думал я, не обуздать никому этой женщины, но тот, кто понимает ее так, как я, быть может, сможет с нею совладать... Очевидно, я не был таким человеком... Я потерял ее, и до сих пор это остается для меня загадкой. Я не знаю, как это случилось... Я долго ломал себе голову в сумерках моей жизни, начавшихся с той поры,—пока это мне не надоело... Я знаю лишь, что она перестала меня любить. Я добился ее любви, но не сумел ее удержать. Я долго не понимал этого, словно вдруг отупел... Я замечал только, что не понимаю, не чувствую ее так, как прежде. Я задумывался иногда, что она хотела сказать тем или иным замечанием, я не понимал еще, что с той минуты, когда стал недоумевать или удивляться ее словам, она сделалась уже мне чужой... Я, как будто, сам этого не замечая, вышел из заколдованного круга. Когда я понял, я пытался еще уверять себя, что никакой перемены не произошло, и она, бедная, жалея меня, поддерживала мои жалкие бредни. Она еще встречала меня, как прежде, мечтательно затуманенными глазами, а я чувствовал только, что душа ее полна нежности, но знал, что глаза ее уже не видят... Она пожимала мои руки, но ее руки уже не передавали мне трепета ее сердца. Ток между нами разомкнулся, и скоро мы оба перестали обольщать себя иллюзиями...

Она так же, как я, не понимала, отчего перестала меня любить. Она жаждала так же, как и я, возврата угасшего чувства, и с трогательным терпением ждала, что я сумею как-нибудь заставить ее вновь полюбить меня... И когда, наконец, пришел час разлуки, она ушла от меня со слезами и долго, долго оглядываясь назад...

Я один был во всем виноват, но, вероятно, это не произвело бы на меня такого потрясающего впечатления, если бы я мог понять, в чем дело, отчего я утратил ее любовь. Я страдал, пожалуй, больше от непонимания, чем от потери. По совести говоря, должен сказать, что не жалею уже теперь об этих минувших днях блаженства... Но было время, когда жалел. Я отлично помню одну темную ночь, когда некий несчастный лейтенант лежал в лодке без весел, и течением несло ее к пенившейся запруде... Но теперь меня уже не волнуют его стоны. Я скорее даже горжусь тем, что это был я (меня отнесло волною к берегу),—и теперь, много времени спустя, мне даже приятно сознавать, что я так же способен был страдать из-за женщины, как и всякий другой мужчина...

Я увидел ее опять, много лет спустя, когда она была уже замужней женщиной, счастливой матерью. Она топнула ногой, рассердившись на капризничавшего ребенка, и скрипнула зубами, и я увидел вновь блестящие зубы и милую

ужимку, которой не могу забыть. Мальчик и девочка вскочили к ней на плечи, и все трое со смехом повалились на землю... Она приподнялась, оправилась с прежней спокойной грацией и невозмутимо-благодушно, как сытое животное, оглянулась по сторонам. Прежняя очаровательная сумасбродка стала счастливой наседкой... Я хотел подойти и поздороваться с нею, но едва сделал первый шаг, старая рана вскрылась вновь. Я отвернулся и пошел своей дорогой. Только несколько слез выкатились из моих глаз, потому что она показалась мне гораздо милее, нежели я думал прежде.

X.

Досуние размышления.

Теперь я уже рассказал вам, так, по крайней мере, мне кажется, каким образом, я постепенно превратился в чудака. Мэри моя повесть, наверное, не понравилась бы... Кстати, раз опять зашла речь о ней, и в сумерки так приятно предаваться мирным размышлениям... Что бы было, если бы я тоном и содержанием своего письма не указал Мэри на святость супружеского долга, а предстал бы перед нею в качестве галантного светского господина? Мне и в голову, конечно, не приходила такая дикая мысль, когда я опускал

письмо в ящик, но между нами говоря, я не раз задумывался над этим с тех пор.

Отчего я тогда не остановился на этой мысли? Оттого, что я всю жизнь должен хранить верность какой-то недостижимой мечте?..

У дочери одной моей приятельницы, очаровательной женщины, чуть ли не накануне свадьбы умер жених... Я помню, какие мучительные усилия делала старая мать, чтобы поддержать мужество и волю к жизни в своей юной дочери. Вскоре, однако, на их горизонте появился другой молодой человек... Этого я едва знал и только иронически пожимал плечами, увидав вдруг мою старую приятельницу в новой для нее роли свахи.

Она ласкала его, расхваливала его, хвастала им. Она помолодела и расцвела в дни их сближения и, сияя от радости, наряжала свою бедную дочь в подвенечное платье и бросала горсти риса в догонку экипажу, увозившему их в церковь. Я случайно забрел в ее комнату после отъезда молодых и увидел ее на коленях в слезах перед портретом умершего жениха.

— Прости меня, — шептала она, — я стара, а жизнь так жестока к одиноким женщинам...

Она вымаливала прощение дочери, потому что женщины должны так устроить свою жизнь, они не могут иначе...

Но я уверен, что она тяжело томилась угрызениями совести...

Мужчины, однако, памятьливее. Я, по крайней мере, памятьлив. Прошло около двадцати лет, а я все еще сгибаюсь под бременем любви, словно под тяжелым мешком возвращенных любовных писем, которые некуда девать.

Я мог бы сказать: они все написаны были для другой женщины, сударыня, но вы, быть может, вычитаете в них что-нибудь и для себя. Это показалось бы странным Мэри, но жизнь жестока к бедным женщинам, и, вероятно, из этого вышло бы что-нибудь...

Но она, конечно, ушла бы навсегда из деревянного домика, а мне оставалось только опустить письмо для того, чтобы они оставались в своем деревянном домике вдвоем... Это было так просто—взять и опустить письмо...

Кроме того, я, несомненно, надоел бы ей, когда она узнала бы меня поближе... Все они таковы...

И потом, неужели он должен утратить свой смех только потому, что я утратил мою улыбку?

И, наконец, это была просто нелепая, дикая мысль...

Я опустил письмо—и у меня камень свалился с сердца.

XI.

Бегство с коляской.

Я встречал порою Давида в общественных местах, например, в Кенсингтонском парке, где он важно раз'езжал, окруженный своей свитой и поглядывая на белые стенки и стеклянные окна других детских колясочек.

Я всегда сворачивал в сторону при встречах с ним, откуда Мэри должна была, конечно, вывести заключение, что я надменный и черствый человек.

Ирэн, состоявшая при нем няней — если не ошибаюсь, это устроилось не без моего содействия—бегала за мной и осведомлялась, не желаю ли я придти посмотреть на него часов в двенадцать—в это время он всегда бывает в духе...

Нет, у меня не было никакого желания посмотреть на него.

— Он смотрит на часы и говорит—«так-так», —соблазнила меня однажды Ирэн.

— Подумаешь, какая важность!

— Другие дети говорят «тик-тик», — гордо возразила она.

— Мне больше нравится «тик-тик»,—заметил я, после чего она убежала, рассерженная.

Если бы они догадались подкатить его под

дерево и оставить там, я подошел бы и посмотрел на него. Но они не делали этого, и я решил ждать, пока он научится ходить—тогда легче будет его подкараулить где-нибудь. Но это был маленький трусливый бутуз, и после нескольких попыток встать на ноги он решил, что благоразумнее будет спокойно лежать в своей коляске. А когда ему исполнился год и он все еще не ходил, я потерял терпение и махнул на него рукой.

— В его возрасте я уже бегал, как белка,—сказал я Ирэн.

Порасспросив моих товарищей по клубу, я узнал, что все они, будучи двенадцати месяцев от роду, тоже бегали, как белки...

Я сделал, однако, няньке такого рода предложение: если она принесет этого отсталого мальчика ко мне в комнату и оставит его у меня на полчаса, я, так и быть, посмотрю на него. Мэри, которой тотчас передано было мое предложение, гордо отвергла его. Но, пораздумав немного, согласилась, и в один прекрасный день Ирэн с обнуженным, вызывающим видом вкатила колясочку в мою квартиру. Я даже не взглянул на коляску и, указав Ирэн пальцем на дверь, сказал:

— Приходи через полчаса...

Она попросила разрешения остаться, обещала быть ниже травы, тише воды, но я был неумолим. Тогда она страстно и нежно простилась со своим

питомцем, но, в сущности, ее трагические слова обращены были ко мне:

— И если он снимет с тебя чулочки, миленький мой, это ему на том свете не простится.

— Я, вероятно, и сниму с нее чулочки,— небрежно бросил я в ответ.

— С нее?

Ирэн пришла в ярость.

— Ведь, это девочка?—спросил я.

Ирэн только раскрыла рот, она не в силах была вымолвить слова от негодования, а я спокойно вытолкал ее за дверь. Затем я обошел кругом коляски раз, другой, то, поразмыслив, решил сесть позади и ждать. Я хотел, чтобы мой гость освоился раньше с обстановкой, а там уже и я сам предстану перед ним...

Я сидел и думал. Проснулся ли он? Если нет, лучше его не будить... Целых полчаса придется, однако, ждать!.. И кто знает, сколько он еще будет спать? Я тихонько свистнул: он не обратил на это никакого внимания.

Помню, я даже говорил себе, что если не тронусь с места до возвращения Ирэн, то это будет новым приятным торжеством над Мэри. Однако, я кашлянул. Опять никакого ответа не последовало. Тогда я уже испугался. А вдруг его там нет?

Я быстро встал, но не успел шага сделать, как заметил какое-то движение посреди коляски,

и в тот же миг услышал тихий горловой звук.. Я остановился. Было ясно, как день, что, кроме меня, в комнате есть еще одно любопытное существо, и несколько минут мы оба ни единым звуком не выдавали своего присутствия. В конце концов,—и я вспоминаю об этом не без удовольствия,—я сделал первый шаг к знакомству... Еще до появления гостя я выстроил на маленьком столике несколько предметов, которые, по моему, могли его заинтересовать: мои часы, цепочки, связку ключей, две золотых медали... Я осторожными крадущимися шагами подошел к столу... Мне кажется, я похаживал в эту минуту на фокусника, собирающегося поразить публику ловкостью своих рук. Давид уже сидел. Глазены его тотчас остановились на мне.

Вряд ли мне удастся найти слова, чтобы описать этого восхитительного ребенка, — и кроме того, я так мало знаю детей. Но прежде всего мне пришлось в голову,—что если бы Тимофей существовал, он, наверно, был бы таким...

Давида принесли ко мне для того, чтобы я высказал о нем свое суждение, но я вскоре убедился, что в сущности он меня подвергает строжайшему экзамену, и этот обмен ролей показался мне столь естественным, что я даже не удивился... Мне хотелось только услышать от него укавание, как я должен действовать дальше. Мне удавалось обмануть многих людей, составлявших

себе, как им казалось, самые верные обо мне суждения, но я не делал никаких усилий, чтобы ввести Давида в заблуждение на мой счет. И рад был бы, да не мог. Эти не мигающие глаза слишком доверчиво смотрели на Божий мир,—я не мог глумиться над ними. В его глазах я видел самого себя. Все «я» словно вдруг раскрылось передо мной, как ящик корабейника, и я увидал, что там очень мало поэтических светлых воспоминаний, и очень много недостойных мыслей и поступков — наследие мелепой, неустроенной жизни.

Я с грустью смотрел на Давида, не потому, что меня не радовало его присутствие,—я боялся, что он не пожелает принять меня в круг своих знакомых. Мне казалось, что в эти мгновения он выясняет себе раз навсегда определенное ко мне отношение...

И вдруг он улыбнулся. Быть может, только потому, что у меня был такой робкий испуганный вид. Но над причиной его улыбки я не задумывался. Я тотчас почувствовал себя иным человеком. Это была долгая улыбка, широко раздвигавшая его губы, словно он впускал меня в свое сердце.

Но вот он опять сомкнул губы.

Затем, желая, повидавшись, отвлечь меня от печальных мыслей, или с целью закрепить каким-нибудь актом нашу дружбу—он взял и высоко

поднял ножку в воздух. При этом он соскользнул с подушки, и я понял, что надо опять посадить его на подушку. Но мне никогда не приходилось так близко прикасаться к ребенку. Когда мне подносили младенца, я обыкновенно закрывал глаза и чмокал губами в пустоту... Давид, в свою очередь, не мог объяснить мне, как я должен за него приняться, но всетаки я, без больших затруднений, посадил его на прежнее место. Тельце его инстинктивно приняло нужное положение, когда я прикоснулся к нему, и руки мои тоже инстинктивно сделали все необходимое для того, чтобы водворить его на прежнее место. Мне это доставило большое удовольствие, а он тем временем соображал, что ему дальше предпринять.

Он опять поднял ножку в толстом шерстяном чулке,—ни дать, ни взять—нога подагрика,—и я подумал, что это просто повторение первого маневра. Но я ошибался, и это не делало мне чести,—потому что, в противоположность Портосу, Давид избегал повторять свои фокусы. Он, быть может, знал уже по опыту, что повторения ослабляют первое впечатление...

Я понял, наконец, он хотел только, чтобы я снял с него чулок.

Но я вспомнил грозное предостережение Ирэн и смутился. Или он слышал, что она говорила, и бросает мне вызов? И, наконец, какое такое не-

счастье могло произойти, если снять чулок? Он так выразительно протягивал мне ножку, что я решился и снял чулок.

Вид обнаженной ножки доставил ему большое удовольствие, но меня поразило то, что другой своей ножкой он нисколько не интересовался...

Однако, он не только любовался ею, но вскинул на меня глазенки, словно говоря:

— «Ну, теперь гляди!»—и, подняв голую ножку, прсзлел губками по пальчикам... Похоже было, будто он исполняет протграммный номер на каком-то странном инструменте... Затем, опять опустил ножку, улыбнулся своей долгой торжествующей улыбкой и дал мне понять, что теперь моя очередь проделать то же... Я подумал, что самое лучшее, что я могу сделать, это опять надеть чулок на его ножку, но первая же моя попытка обьяснила мне зловещие слова Ирэн. Я понял, какое это мучение должно быть для нее надевать ему чулочки по утрам...

Тем не менее, пока он соображал, что бы ему сделать с моими часами, я всетаки надел ему чулок.

Я искренно сокрушался о том, что не могу положить часы под стакан и превратить их в ворону,—фокус, который столько людей проделывают с отменной ловкостью... Давид, очевидно, тоже занятый мыслью о каком-нибудь хитром фокусе, чуть было не засунул куда-то часы, но

мне удалось вытащить их опять за конец цепочки...

— «Ха-ха-ха!»

Так он комментировал свой новый фокус, но для меня его смех прозвучал жестоким напоминанием о том, что это не мой сын. Впрочем, Мэри не передала ему весь смех его отца...

Часы показывали, что прошло уже двадцать пять минут и, выглянув в окно, я увидел Ирэн на одной стороне улицы, мужа Мэри на другой стороне, и за ним Мэри... И все трое не сводили глаз с моих окон. Они, конечно, нарушили свое обещание.

Я обернулся опять к Давиду и тихо спросил, не хочет ли он меня поцеловать. Он шесть раз покачал головой, и я был в отчаянии. Потом он улыбнулся, и я видел, что он уступает моему желанию. Теперь он шесть раз кивнул головой.

Это был самый очаровательный из всех его поступков. Это было так мило, что, вопреки своим правилам, он дважды повторил его. Я протянул к нему руки, и он опять сначала несколько раз покачал головой, потом после долгой паузы—словно пугая меня—несколько раз кивнул головой.

Но едва я успел взять его на руки, как увидел в окно Мэри и ее мужа и Ирэн, направлявшихся к моему дому, очевидно, с намерением увезти от меня Давида... Я быстро, не отдавая

себе отчета, зачем это делаю, усадил Давида в коляску и выкатил его на улицу с черного хода. Мы отправились в Кенсингтонский парк... Это произошло так стремительно и неожиданно, что, помню, я несколько раз ощущивал голову, дабы убедиться, не забыл ли я надеть шляпу.

Я смотрел Давиду в лицо, желая знать, как он относится к этому бегству, но он не успел еще поставить себе никакого мнения об этой непредвиденной прогулке... И как это ни странно, всю мою застенчивость с меня как рукой сняло. Я стал вдруг совершенно равнодушен к тому, что скажут другие, и вся гордая решимость даже усилилась, когда я заметил погоню за собою. Они окружили меня кордоном недалеко от беседки Марго Мередит, но я ловким стратегическим ходом прорвался на юг и вскоре выкатил коляску на Детскую аллею. Тогда они замкнули выход из аллеи с обоих концов, но я и тут ускользнул от них, свернув на боковую дорожку... Огибая колодезь Св. Слова, я видел, как они растерянно сбегали вниз с холма, и когда они направились к Круглому пруду, мы беззаботно катались по Широкой аллее, ни о ком и ни о чем не думая.

Но мало-по-малу Давид сообразил, что как никак я всетаки чужой человек, и глаза его стали постепенно расширяться, пока не округлились до размера моих военных медалей. И за-

тем с такой же методичностью, так же медленно, как он собирался улыбнуться, он приготовился зареветь... Я читал на лице его все усилия, которые он делал. И чувствовал себя беспомощным против них. Я был словно безоружный человек лицом к лицу с целым отрядом.

Но я и в эту минуту был неспособен рассердиться на него. Не мог же он знать, что это я уронил письмо.

Добрая фея напомнила мне в это мгновение давно забытое искусство, которым я так гордился когда-то... Из всех моих товарищей, я один умел поднимать и опускать каждую бровь отдельно. Одна бровь поднималась вверх по лбу, другая опускалась вниз, как ведра на коромысле...

Из недоверия к своим силам я призвал теперь на помощь этот галант, и Давид тотчас бросил все попытки заплакать и внимательно стал созерцать мои странные ужимки. Однако, рот его был еще раскрыт, на всякий случай. Очевидно, он всетаки намеревался зареветь, если я не оправдаю его ожиданий... Но будучи по природе славным, великодушным малым, он ждал, желая дать мне все возможности позабыть его, и я гримасничал, не щадя своих сил... Я боялся пуще всего, что по молодости лет он, пожалуй, не сумеет оценить моего искусства. Я обращался к его уму и к его сердцу—такой шту-

ки никто, кроме меня, показать ему не сумел бы...

Когда я остановился на мгновение, чтобы передохнуть, он, не меняя выражения лица, сделал мне безмолвный знак—ничего, мол, довольно забавно, но он не решил еще, достаточно ли это забавно, чтобы вовсе отказаться от рева... Я, однако, почувствовал в этом знаке поощрение и опять стал корчить рожи. Заметив колебание на лице Давида, я сделал последнее отчаянное усилие и поднял левую бровь чуть ли не до самых волос... Тогда, наконец, сквозь тучи блеснула улыбка. И вдруг—в ответ на мою тайную радость победителя я услышал шумные одобрения и рукоплескания.

Я смутно сознавал все время, что мы не одни, но не решался отвести глаз от Давида. Теперь я увидел, к каковой моей досаде, что мы окружены толпою маленьких и чрезвычайно заинтересованных зрителей. Один среди них был, помню, такой отчаянный, дерзкий сорванец...

И хотя это несколько охладило мое радостное возбуждение, однако, чувство победы было слишком сильно для того, чтобы уступить место другим настроениям... Я присел на садовую скамейку под фиговыми деревьями, положив одну руку на коляску, как—я наблюдал—делают обыкновенно няньки... Так приятно было сидеть на скамье с видом человека, для которого эти

прогулки с Давидом привычное повседневное занятие... Но вдруг я, к огорчению моему, увидел Мэри, подходившую ко мне осторожными быстрыми шагами. Она была уже так близко, что бежать было бы просто неприлично. Портос шел впереди нее, помахивая своим предательским хвостом, но она замедлила шаги, увидав, что я слежу за нею. Она бегала, бедная, по моим следам вместе с моей собакой.

Я забыл упомянуть, что Портос с некоторых пор стал частым гостем в ее доме. Никогда не забуду, как я изумился, когда в первый раз увидел его выходящим из ее домика с видом визитера...

Потом он уже просто, без церемоний, уходил от меня к ней, через некоторое время опять возвращался ко мне, и я догадался, что муж Мэри рисует с него портрет...

Я несколько растерялся при виде ее, но смотрел на нее с невозмутимо-холодным лицом и заметил, что она прежде всего взглянула на Давида... Но Давид небрежно бросил ей кончик улыбки, начало которой предназначалось для меня... Лицо ее просветлело, дикая материнская тревога погасла в глазах. Она часто и быстро дышала после безрассудной погони и, сделав своим союзникам знак, чтобы они оставались на заднем плане, с любопытством посмотрела на меня. Если бы она заговорила в этот

миг, слова ее, наверно, были бы так же запечатлены волнением, как и ее лицо: но губы ее только задрожали, как у Давида, когда он собирался улыбнуться, и я читал ее мысли: она радовалась, что теперь ей удастся, наконец, поговорить со мной.

— Я все-таки беспокоилась немного,—проговорила она лукаво; и должен сознаться—очень приятно было услышать так близко ее голос...

Но я только снял шляпу, и тогда она быстро повернулась к Давиду—не понимаю, отчего она так быстро повернулась тогда к нему—и наклонилась над ним. Милый, бесценный мальчуган! Что он сделал? Вместо того, чтобы поцеловать ее, он одной рукой ухватился за ее лицо, а другой стал поднимать и опускать ее брови. Но из этого ничего не выходило, и его разочарование несказанно тешило меня...

— Не понимаю, чего ты хочешь, мой милый,—растерянно проговорила она и вопросительно взглянула на меня. Но я знал, чего он хочет, и, молча, дал ей понять, что знаю. Если бы я подготовлен был к беседе с нею, я надменно ответил бы, что если бы она и знала, чего он хочет, все равно она бы этого исполнить не могла, хотя бы и упражнялась в этом двадцать лет.

Но вместо объяснения, я только опять приподнял шляпу.

Давид обратил внимание на мое движение и доверчиво потянулся ко мне. Она не видела, что я делаю, потому что я уже стоял к ней спиной. Но Давида мое искусство на этот раз совершенно покорило. Он стал делать знаки матери, чтобы она уходила: ему не надо ее. Он занят весь этот день...

Что бы вы сделали на моем месте, читатель? Это была, сознаюсь, значительная минута в моей жизни, но у меня хватило мужества в третий раз приподнять шляпу и удалиться, предоставив ребенку решить, кто из нас ему милей... Я шел очень медленно и напряженно вслушивался,—но в этом нужды не было... Вдогонку мне раздавался отчаянный рев. Я обернулся. Давид с яростью отталкивал от себя мать для того, чтобы она не заслоняла меня... Он жадно тянулся ко мне ручонками и кивал головой, и я чуть было не повернул обратно. Но меня спас план, внезапно сложившийся в моей голове. Я пошел дальше. С тех пор я неуклонно осуществляю этот план. Я поставил себе целью—освободить мальчика от влияния матери, избаловать перед ним все ее слабости и капризы, отнять его у нее, и сделать всецело моим.

XII.

Приятнейший клуб в Лондоне.

Все детские колясочки везут в Кенсингтонский парк.

Но вы недолго могли видеть Давида, совершающего это путешествие вышеописанным способом, ибо вскоре после того, как я впервые поколебал его веру в мать, он стал подниматься и двигаться, а затем и расхаживать по Широкой аллее, и гордо вытягивался во весь свой рост, властно требуя внимания к своей особе со стороны великобританской публики. И был очарователен, пока не упал. Шлепнувшись на землю при дружном смехе зрителей, он сделал, однако, вид, будто затем и шлепнулся, чтобы потешить публику...

Это было в понедельник. Во вторник он уже карабкался по каменной лестнице Золотого Короля и победоносно оглядывался на каждой ступеньке, а в среду—считал до трех и уже носил короткие штаны. Кенсингтонский парк, надо вам знать, кишит короткими курточками и штанишками. Самые короткие—это переход от малюток в длинном платице к малышу, сидящему верхом на ограде... Это называют «трагедией матери»...

Если вы завсегдатай парка (который обладает

своим особым языком), — то вы по лицам этих милых матерей легко научитесь определять возраст их детей. Когда сыну три года, про его мать говорят, что на лице ее нарисованы короткие штаны, и, между нами говоря, Мэри не легко примирилась с этим украшением.

Ей очень хотелось, чтобы мальчик ее долго еще оставался маленьким, беспомощным ребенком, но он отстаивал свои права, и я поощрял его, потому что мне приятно было досадить лишний раз Мэри. Я виделся теперь с Давидом раз в неделю. Мать его, не подозревавшая моего коварного плана, разрешила Ирэн водить его ко мне, и мы очень подружились с ним, хотя нянька всегда умудрялась отравлять мне радость этих свиданий. Ирэн—должен заметить—мало выиграла при более близком знакомстве. Она стала чрезвычайно заносчива, властолюбива, а зазналась она, как мне казалось, главным образом, потому, что носила теперь чепец с лентами, которым презабавно гордилась. Держала она себя очень важно, как особа, облеченная ответственной ролью воспитательницы, и говорила о своих обязанностях таким тоном, словно через ее руки прошли уже несколько поколений детей. Она была также чрезвычайно ревнива и позволяла себе критиковать мои воспитательные приемы, что, конечно, вело ко всяким препирательствам и даже стычкам между нами, о которых я

со стыдом вспоминаю теперь. Я выдвигал против нее следующие обвинения:

Она слишком распространялась о том, что можно и чего нельзя... Была взыскательна, как суровый строевой начальник.

Уверяла, что на ней настоящий чепец с настоящими лентами, хотя прекрасно знала, что Мэри соорудила его из старой кисейной занавески.

Мне совестно теперь, что я прибегал тогда к таким жестоким доказательствам, но этим только мне и удавалось охлаждать ее излишнее рвение...

Она, с своей стороны, обвиняла меня в том, что я порчу ребенка своим баловством.

Что я не думаю о его будущем...

Что я не объясняю ему печальных последствий его капризов.

Что я рассказываю ему сказки, из которых нельзя вывести никакого нравственного поучения...

И в том, наконец, что я говорю ему, будто платочек исчезает неизвестно куда, когда в действительности платочек исчезал в маленький жестяной стаканчик, который я ношу при себе, на тесемочке...

Надо вам сказать, что в те дни я чрезвычайно увлекался всякими фокусами. Достигнув таких блестящих результатов игрою бровями, я ре-

шил вооружиться новыми приманками, на всякий случай, если бы манипуляция с бровями перестала оказывать желанное действие...

Штука эта внезапно перестала занимать Давида. Такая же судьба постигла потом и все другие мои фокусы. Он мог двадцать раз требовать повторения какой-нибудь игры и восторгаться ею, а в двадцать первый раз смотрел на меня немигающими глазами, словно недоумевал, зачем я валяю перед ним дурака. Он напоминал мне тогда королеву-ребенка, которая, выслушав объяснение какой-то сложной игры, холодно сказала:

— Это нас не забавляет.

И я вас уверяю, что ничего не может быть унижительнее, как потерпеть неудачу перед детьми, которое, дав вам достаточно времени, чтобы показать все ваши шуточки, признается затем, что все это несколько его не забавляет.

Я успокаивал себя надеждой, что если бы Давид умел говорить, а не только смотреть и произносить: бяка, то его устный приговор был бы для меня менее обиден, но позднее мне пришлось в этом разочароваться. Помню, — однажды, когда он уже вел сам с собою увлекательные беседы и не нуждался в обществе взрослых, я предложил показать ему очень смешной фокус с коробкой и двумя шариками. Он

долго смотрел, а потом пресерьезно изрек: «Ты мне скажи, когда станет смешно»...

Признаюсь, я даже взял несколько начальных уроков колдовства у одного талантливого юноши, с длинной шеей и угреватым лицом. Как только я вошел в его полутемную комнату при лавочке, он вытащил из моего кармана вывеску цирюльника, приговаривая при этом:

— Ну, ну, что еще за штуки!..

Оттого ли, что он слишком много знал, или оттого, что на нем была какого-то необычайного вида и покроя блуза, но впечатление он произвел на меня угнетающее...

Ему совершенно чужды были артистические радости, и грустно было мне за человека, обязанностью которого было развлекать тысячи человеческих существ, между тем, как сам он не испытывал при этом ни малейшего веселья.

Дощечку цирюльника я вскоре и сам стал легко вытаскивать из рта Давида. Но тут оказалось одно непредвиденное затруднение: куда припрятать в Кенсингтонском парке вывеску цирюльника?

Дети здесь были все воспитанные, милые и, найдя какую-нибудь вещь, считали своим долгом тотчас разыскать ее собственника.

Фокусник уверял меня, что всюду и всегда кто-нибудь, наверно, даст мне необходимые для

фокусов бутылку и лимон. Но я теперь только убедился, какая это редкость в Кенсингтонском парке—бутылка и лимон.. Волшебную рюмочку я носил при себе, и с ее помощью проделывал удивительные вещи с медными монетами... Но и монета в шесть пенсов не всегда бывала надежным соучастником; случалось, что когда я с торжеством заявлял, что монета должна оказаться на дне рюмки, она вдруг падала откуда-то на землю... И такие неблагодарные зрители, как Ирэн, не останавливались тогда перед обвинением в том, что я развращаю и отравляю ложью юную душу... И тщетно я доказывал ей сквозь стиснутые зубы, что это была только шутка... Она никаких шуток не понимала, кроме своих собственных, о которых она была чрезвычайно высокого мнения... И меня это нисколько бы не занимало, если бы и Давид их не ценил. Но когда я слышал, как он заливался, хохотал до слез над шутками Ирэн,—я не мог подавить в себе презрительного чувства к нему... Если я, криво усмехаясь, останавливался подле них, он восторженно подмигивал мне, будто говоря: «Она уморительна, эта Ирэн, неправда ли?»

Мы были соперниками, но я старался быть до щепетильности благороден в отношении ее, и признавал у нее одно бесспорное преимущество, а именно—ее каучуковый зуб. В раннем детстве у нее выпал передний зуб—она вколотила его

опять при помощи головной щетки. Но зуб, тем не менее, опять выпал, и тогда она заменила его каучуковым зубом собственного изделия... Этот выскакивал только, когда она чихала... Если он падал на ее колени, то это значило, что у нее легкий насморк, но если зуб при чихании отлетал в другой угол комнаты, то это значило, уже, что она по-настоящему простужена. Зуб Ирэн пользовался широкой известностью в Кенсингтонском парке, и малыши каждый день засыпали ее расспросами о ее необыкновенном зубе... И я, с своей стороны, никогда бы не стал пенять Давиду за его вполне естественную гордость собственника, если бы он понимал, что этот несомненный талант Ирэн принадлежит, так сказать, к талантам низшего порядка... Я тогда уходил от Давида и давал ему понять, что раз его благоволение можно купить такой дешевой ценой, то от такого соискательства я вовсе отказываюсь. Но Кенсингтонский парк самый приятный клуб в Лондоне... Я не мог долго бороться с соблазном и вновь возвращался туда. Я разыскивал Давида по аллеям, уводил его в затененные уголки парка, я видел только его одного, хотя другие матери — к величайшему негодованию Мэри — тоже стали наряжать своих детей в такие же живописные костюмчики, какими всегда щеголял Давид.

А Ирэн я повел к дантисту, который вставил

ей настоящий зуб — и тем, так сказать, подрезал ей крылья.

Давид проделывал со мной очаровательные штуки. Так, например, моими карманами он пользовался, как вместительными, в которые совал все, что попадалось ему под руку. Он заглядывал в них, как в свои собственные карманы, даже не говоря — с вашего позволения, и дома, вешая пальто на вешалку, я часто находил в карманах жестяных солдат, пистолет, — и вздыхал... Помню еще: однажды я приласкал в парке другого мальчика... Давид долго смотрел на это, затем встал, подошел к этому мальчику и похлопотил его. То же самое проделывал обыкновенно и Портос. Стоило мне обратить внимание на другую собаку, как он тотчас бросался на нее, валил ее на землю, и, став на нее ногами, серьезно и гордо озирался кругом. И я тотчас понял значение неожиданной выходки Давида. Он открыто заявил этим, что считает меня своей исключительной собственностью...

Ирэн сделала ему выговор за то, что он побил мальчика, и поставила его в наказание подле скамейки на Широкой аллее. И мы, конечно, обменялись с нею несколькими теплыми словами по поводу этой вопиющей жесткости. При следующей встрече с нею я сделал вид, что не замечаю ее. Она тоже важно прошла мимо меня, но потом приуныла, а когда я ушел из парка — разразилась

слезами. Она плакала оттого, что я ни при встрече, ни уходя, не снял перед нею шляпы... Я узнал, к немалому моему удивлению, что эта моя глупая привычка чрезвычайно льстила ее гордости. Мы не раз еще ссорились после этого, но я никогда уже не забывал снять шляпы при встрече с нею... Я тоже взял с нее обещание, что она будет кланяться мне, и она ответила с напускным равнодушием, что я насмехаюсь над нею... Но мое требование польстило ей, и должен вам сказать, что кланялась она восхитительно—склонив немного голову на бок... Я нахожу очаровательной эту манеру кланяться, и, конечно, она переняла ее у Мэри...

Мне будет очень грустно, если вы из моего рассказа выведете заключение, что я смотрю на детей, как на шенят, которых надо только забавлять. Может быть, у меня и была такая мысль, когда я в первый раз протянул Давиду мои неопытные руки... Сознаюсь, что и тогда и после, пока ему не исполнилось трех лет, я другими целями не задавался и старался только его забавлять... Если это была ошибка с моей стороны, Господь Бог простит ее мне—я видел Давида один только раз в неделю, и у меня было так мало умения обращаться с детьми...

На нелепость всех моих затей открыли мне глаза отчасти сам Давид, отчасти Ирэн... Наблюдая ее игры с детьми, я вскоре убедился, что как

дети ни падки на всякого рода забавы, их, однако, гораздо больше волнует какой-нибудь трогательный или поучительный рассказ. Эта маленькая женщина страстно любила детей и всегда бывала окружена целой кучей малышей, слушавших ее с благоговением... Она с серьезным и важным лицом рассказывала им, как ведут себя настоящие маленькие лэди и джентльмены. Ее слушатели были дети зажиточного класса, она же—недавний обываш из Дрюри-Лейн... Но она была для них авторитетом хорошего тона, и чем больше они слушали, как опрятны были романтические герои Ирэн, как послушны, как старательно обходили лужи, тем больше восхищались ими, хотя выражение их лиц ясно говорило о том, что эти маленькие благовоспитанные лэди и джентльмены представляются для них недостижимым идеалом...

Я сочинял для Давида много всяких сказок, обдумывал и репетировал их перед моим каминном, а Ирэн знала одну только сказку, но рассказывала ее изумительно... Другой такой сказочницы мне никогда не приходилось слышать...

Это была чудесная сказка, и рассказывала ее сама героиня.

— А почему короля и королевы не было дома?—спрашивал Давид, едва дыша от волнения.

— Вероятно,—отвечала Ирэн, подумав немного,—они пошли покупать провизию...

Она всегда рассказывала эту сказку, глядя в пространство, и Давиду казалось, что там, на Широкой аллее, действительно, происходят какие-то события. И когда она добиралась до самого интересного места, грудь ее начинала высоко подниматься. Никогда я не забуду, с каким обидным презрением принц говорил сестрам: «Нет, ни одна из вас не надевала этого хрустального башмачка»...

— И тогда — и тогда — и тогда! — говорила Ирэн. Она не делала эффектных театральных пауз. Она волновалась потому, что она рассказывала свою собственную повесть...

Ну, ну — ну... скорей! — нетерпеливо стонал Давид, хотя знал сказку наизусть.

— Она села... так — вот села, — в самозабвении, как ясновидящая, продолжала Ирэн, — и надела хрустальный башмачек... он припел ей как раз по ноге... И тогда принц громко крикнул: «Вот она, моя невеста, Золушка! И теперь я поведу ее под венец»...

Ирэн отрезвлялась, как после долгих грез, и гордо озиралась кругом на важную публику, прогуливавшуюся по аллеям парка...

— Да, она была простой, грязной, бедной сироткой, Золушка! Но честная и добрая и дождалась заслуженной награды... — добавляла она прерывавшимся тихим голосом, и глаза ее влажно блестели...

Я убежден, что если бы в эту минуту подле них появилась добрая фея и коснулась Ирэн своей рукой, Давид не столь удивился бы, сколько был бы заинтересован... Но я угадал тайну этой девочки. Она знала, что в наше время нет больше добрых фей, но лелеяла надежду, что если будет честной, хорошей девочкой, то и она когда-нибудь будет настоящей барыней, как ее хозяйка, которую она обожала...

Это страшная, щемящая сердце тайна, — мечта девочки, выросшей в квартале Дрюри-Лейн. И сколько тяжких препятствий предстояло ей одолеть в этом печальном Лондоне наших дней. И как мало шансов у нее было на победу...

Помоги тебе Бог, Ирэн!..

XIII.

Прогулка по парку.

Если вы не будете знать Кенсингтонского парка так, как знает его теперь Давид, то вам трудно будет следить за нитью нашей повести.

Кенсингтонский парк находится в Лондоне, где живет король, и дети ходят гулять в парк каждый день... Но обойти весь парк редко кому удается, потому что дети должны рано возвращаться домой. Возвращаться домой надо потому, что дети должны спать от двенадцати до часу

дня. Если бы матери не считали необходимым этот полуденный сон, у детей было бы больше времени знакомиться с парком...

Вдоль парка тянется всегда бесконечная вереница омнибусов, которые так послушны Ирэн, что достаточно ей поднять пальчик, и они тотчас останавливаются. И тогда вы с полнейшей безопасностью можете перейти вслед за нею на другую сторону улицы. В ограде парка много, много ворот, но вы входите всегда одними и теми же, и прежде чем войти, остановитесь и поболтайте немного с женщиной, торгующей воздушными шарами. Она всегда сидит у ворот и войти в парк не решается, потому что, если бы она хотя на один миг сняла руку с железной ограды, за которую крепко держится, то воздушные шары взлетели бы вверх и унесли ее с собой. Она сидит прямо, прижав ноги к земле, потому что шары дергаются на бечевках, и от напряжения у нее всегда красное лицо. В один прекрасный день, у ворот оказалась другая женщина, потому что прежнюю шары, в конце концов, унесли таки на воздух... Давид был очень огорчен, но раз ей суждено было улететь, то он очень жалел, что не видел, как она улетала...

Парк занимает огромное пространство, и деревьев в нем миллионы... Прежде всего вы входите в Фиговую аллею, но отсюда тотчас и с презрением удаляетесь, потому что Фиговую

аллею облюбовали для себя важничающие маленькие барчата, которым запрещено водить знакомство с детьми низшего круга... Фиговой эта аллея называется, как гласит предание, потому, что дети здесь всегда одеты с иголки... *)

Давид и другие герои Кенсингтонского парка презрительно называют этих франтов «фигами» — и перебивают им косточки. О них рассказывают самые невероятные вещи... Они так невежественны, что игру cricket называют «crickets» (**).

Бывает, что какая-нибудь благонравная «фига» взбунтуется и перелезает через забор, как, например, сделала мисс Мабель Грей, о которой речь еще впереди. Это была единственная воистину знаменитая фига.

Итак, минуя Фиговую, мы выходим на Широкую аллею. Она настолько же больше других аллей и дорожек, насколько отец больше своих маленьких детей. Давид спрашивал, родилась ли она тоже маленькой и потом росла, росла, пока стала совсем большой, и детьми ли приходится ей все другие дорожки, и воображал Широкую аллею — маленькой, совсем маленькой, и в детской колясочке, что очень смешило его. На Широкой аллее копошится самая пестрая малолетняя публика... Тут надо смотреть в оба: то один, то другой малыш отбывает наказание подле скамьи,

*) Непереводимая игра слов: fig — фиговое дерево; dressed in ful fig — быть с иголки одетым.

**) Cricket — игра; cricket — сверчок.

изображающей что-то вроде лобного места. Одни—за то, что были «бешеной собакой», другие—за то, что были «Мэри-Анни»... Быть «Мэри-Анни»—значит вести себя, как девчонка—рюмить оттого, что няня на минуту отошла в сторону, или сосать свой палец, и вообще—быть «Мэри-Анни» это большой позор... А «бешеная собака» это значит брыкаться, давать пинки направо и налево, и надо сказать, что многие находят в этом некоторое удовольствие...

Если бы я стал перечислять все достопримечательности Широкой аллеи, мы бы не прошли и до половины ее за день... И потому, я только указываю моей тростью на дерево Чекко Юлетта, на замечательное место, где мальчик по имени Чекко потерял пенс и, разыскивая его, нашел два пенса. С тех пор здесь производилось множество раскопок людьми, чаявшими клада... Немного дальше стоял матенкий деревянный домик, в котором когда-то прятался Мармадук Перри... Это самая жуткая легенда Кенсингтонского парка. В течение трех дней Мармадук Перри был «Мэри-Анни», и в наказание его привезли в парк, на Широкую аллею в платье его сестры. Тогда он спрятался в маленьком деревянном домике и не выходит оттуда до тех пор, пока ему не принесли его штанишки с карманами...

Предмет всеобщих вожделений это Круглый пруд... Но няни не полагаются еще на здравый

смысл своих воспитанников и, отвлекая их внимание от Круглого пруда, водят к Большому Пенсу или к Дворцу маленькой девочки... Это была самая красивая в парке девочка. Она жила одна в своем дворце, окруженная штатом кукол и нянек... Вставала она в шесть часов, сама зажигала свечку, открывала дверь, и ее встречали ликующими криками: «Да здравствует королева Англии!» — Давида больше всего поражало то, что она всегда помнила, где лежат спички... А Большой Пенс—это воздвигнутая в честь ее статуя...

Бугром называется место на Широкой аллее, где происходят бега. У вас, например, нет никакого желания бегать, но едва вы приходите к этому месту, вами овладевает какой-то бес, и вам уже не стоит, вы пускаетесь вслед за другими... Но иногда силы изменяют вам и тогда — крышка! Вы погибли... Но к счастью, в двух шагах от Холма—другой деревянный домик—«Убежище для заблудившихся»... Вы говорите сторожу, что вы заблудились, и он указывает вам дорогу... Весело мчаться вниз с вершины холма, но, увы, в ветренные дни это удовольствие неустойчивое—потому что в ветренные дни мы сидим дома, и, вместо нас, с холма летят вниз падающие с деревьев листья.

Нет ни одной вещи, которая умела бы играть в разные игры лучше падающих листьев.

С Холма мы видим ворота, названные по имени мисс Мабель Грей, той самой «фиги», о которой я обещал вам рассказать... С ней всегда приходили две няни—быть может, впрочем, одна из них была мама, а другая—настоящая няня... И долгое время это была примерная благовоспитанная девочка, всегда покашливавшая, всегда вежливо говорившая другим «фигам»—здоровствуйте... А играла она—это надо было видеть!.. Подбросит чуть-чуть мячик и посылает няню поднимать его... Но в один прекрасный день ей все это надоело, и она превратилась вдруг в «бешеную собаку»... Чтобы никакого сомнения быть не могло в том, что она, действительно, «бешеная собака», она первым делом развязала шнурки у своих ботинок и стала показывать язык—на восток, на запад, на север, на юг... Затем, бросила свой пояс в лужу и принялась отплясывать дикий танец.

Она плясала в луже до тех пор, пока не забрызгала себя грязью с головы до ног. Тогда она вошла на ограду, где проделала еще тысячу невероятных вещей. Наконец, бросилась к воротам, названным позднее ее именем, и побежала по улицам, в которых мы с Давидом не были никогда, хотя до нас не раз доносился их глухой гул... Мабель Грей неслась без передышки из одной улицы в другую и, вероятно, исчезла бы бесследно, если бы мать ее не вскочила в

омнибус и не догнала ее... Все это случилось, должен добавить, давным-давно, и Давид не имел удовольствия лично знать мисс Мабель Грей.

По правую руку от Широкой аллеи идет Детская аллея, на которой всегда столько колясочек, что вы могли бы шагать по малышам, как по ковру, если бы няньки ничего против этого не имели... Отсюда узкая дорожка,—Мальчик-с-пальчик,—ведет к Закусочной аллее, всегда уставленной котелками и бутылками... Когда дети пьют молоко или воду, в кружки их падает каштановый цвет.

Затем мы подходим к колодцу св. Слова, который полон был воды, когда в него упал Малькольм Смелый... Он был любимцем своей матери, и так как она была вдова, то он позволял ей обнимать себя при посторонних... Он был большим охотником до всяких приключений и любил играть с трубочистом, который убил на своем веку много, много медведей... Трубочиста звали Сути. Однажды они играли оба подле колодца. Малькольм по неосторожности своей упал в колодец и наверно бы утонул, если бы Сути не нырнул в воду и не вытащил его. В колодце с трубочиста сошла вся грязь, и Малькольм узнал в нем своего давно потерянного отца... И с той поры он не позволял больше своей маме обнимать себя при посторонних...

Между колодцем и Круглым прудом находятся площадки для крикета, но на них никто, обыкновенно, не играет. Препирательства о том, где кому играть, длятся так долго, что до самой игры редко доходит дело... В парке ведется двойного рода игра в крикет: одна под именем «мальчишеский крикет» — это настоящий крикет с настоящими молотками; и «девочкин крикет» — тут играют, вместо молотков, ракетками и под наблюдением нянь.

Девочки совершенно не умеют играть в крикет, и когда Давид наблюдает их беспомощные потуги, он не может удержаться от насмешливых восклицаний... И, однако, одна его прогулка ознаменовалась весьма неблагоприятным происшествием. Несколько бойких девочек стали подтрунивать над свитой Давида, а одно дерзкое существо по имени Андела Клэр вступила даже с ними в состязание и... Но я лучше умолчу о результатах этого злополучного поединка... Поспешим к Круглому пруду. Это маховое колесо в жизни Кенсингтонского парка...

Пруд этот совсем круглый и находится в самой середине парка. Придя к нему, вы никуда уже больше уходить не хотите. Подле Круглого пруда невозможно оставаться чистеньким, опрятным мальчиком. На Широкой аллеи и на других аллеях это еще возможно, но никак не подле Круглого пруда. Просто потому, что здесь вы

об этом тотчас забываете, а когда вспоминаете, на вас все так грязно и мокро, что всякие предосторожности уже излишни... Иные пускают на Круглый пруд такие большие лодки, что привозят их с собой в тачках или в колясочках, и тогда дети плетутся в парк пешком... Кривоногие дети в парке это и есть дети, которые ходят в парк пешком, потому что отцы возят на их колясочках лодки...

Кто не мечтал о яхте на Круглом пруду? Наконец, ваш дядя дарит вам яхту. Возить ее в парк, спускать на пруд и рассказывать о ней мальчикам, у которых нет дядей, — да, ведь, это же блаженство!.. Но потом яхта приедается и ее оставляют дома... Из всех судов, совершающих рейсы по Круглому пруду, самое приятное это — так называемая лодка-трость, получившая это название, ибо она больше похожа на палку, когда плавает в воде, нежели на лодку. Вы спускаете ее в пруд на бичевке, бегаєте вдоль берега, тащите ее за собой и видите, как, словно по волшебству, вздымаются и надуваются на ветру паруса, как снуют люди на палубе, а на ночь уводите ее в надежные гавани, недоступные для великоленных яхт. Быстро проходит ночь, и опять ваше чудесное судно с наклонными мачтами выпрямляет свои паруса, нагружается хлебом, и вы мчитесь мимо забытых городов, сражаетесь с пиратами и бросаете якорь

у коралловых островов. И все это вы проделываете один, потому что вдвоем это не так интересно, и разговариваете все время тоже с самим собою, сами отдааете приказания, и с отчаянным рвением сами же их исполняете. Вы забываете обо всем на свете, и о том, что пора возвращаться домой, и о том, где вы находитесь и кто надувает ваши паруса. Казна ваша, все ваши сокровища спрятаны в трюме судна, и, быть может, какой-нибудь другой мальчик много лет спустя найдет и откроет ваш драгоценный ларчик. Но на яхтах нет сокровищ в трюме. И мы вспоминаем с радостью любимые в детстве места не потому, что с ними связаны воспоминания о великолепных яхтах... О, нет...

Самые радостные воспоминания связаны с лодочкой, сделанной из палки... Яхты — это игрушки, и собственники их никогда в дальних плаваниях не бывали. Они скользят вдоль и поперек пруда, а лодочки из палок совершают морские рейсы... Что толку в яхтах? Это все случайные, мимолетные гости, и если бы утки сделали на них нападение и потопили бы их всех, ничего от этого не изменилось бы. Плавание настоящих судов шло бы своим порядком...

Тропинки сбегаются к пруду со всех сторон, словно дети. Иные из них — обыкновенные тропинки с изгородью по одной стороне, сделанные рабочими в блузах, а другие тропинки —

ничьей рукой не проложены, и местами они шириною с большое блюдо, а местами так узки, что две подошвы едва умещаются на них. Их называют самодельными тропинками, и Давиду очень хотелось видеть, как они сами прокладывают себя. Но, как и все чудеса в парке, это тоже происходит ночью, очевидно, после того, как запирают ворота. Мы решили, что тропинки эти сами прокладывают себя потому, что иначе им бы не попасть к Круглому пруду...

Одна из этих тайных тропинок тянется от того места, где стригут овец. Когда Давиду снимали кудри в парикмахерской, он даже бровью не шевельнул, а Мэри с того дня никогда уже не улыбалась больше прежней беззаботной улыбкой. Поэтому Давид презирает овец, убегающих от своих парикмахеров, и насмешливо кричит: Трусихи!.. Трусихи!.. Но когда стригуны сжимают бедную овцу между колен, Давид прозит им кулаком за жестокое обращение... Но вот, наконец, с овец падает грязная шерсть, и они становятся похожи на декольтированных дам в театральных ложах. Они так боятся стрижки, эти бедные овцы, что бледнеют и худеют, и вырвавшись из рук своего мучителя, тотчас же с тревогой принимаются щипать траву, словно боясь, что им никогда уже не придется наслаждаться ею... Давида очень занимает, узнают ли они друг друга теперь, когда так измени-

лись, и не станут ли они вдруг драться вовсе не с теми, с кем затеяли ссору до стрижки... Они большие драчуны и совершенно непохожи на деревенских овец, и это ежегодно приводит в изумление моего Портоса.

Он может обратить в бегство целое стадо деревенских овец одним своим появлением на улице, но эти городские овцы подходят к нему с видом, менее всего сулящим какие-либо приятные развлечения, и в памяти Портоса тотчас вспыхивает воспоминание о прошлогодней встрече... Он не может отступить назад, не роняя своего достоинства, — и потому, не останавливаясь и оглядываясь кругом, словно восхищенный открывшейся перед ним панорамой, он равнодушно, с видом праздного фланера, следует дальше, поглядывая на меня украдкой...

Недалеко от площади, где стригут овец, лежит хорошенькое озеро Серпантин, с затонувшим в нем лесом. Если наклониться над водою, то можно видеть деревья, растущие там вверх корнями, и говорят, что ночью бывают видны и затонувшие в озере звезды... Если это правда, то Питер Пэн видит их каждый вечер, когда плавает по озеру в Гнездо дроздов. В самом парке находится только часть озера Серпантин, а дальше оно голубеет уже за мостом, где находится и остров, на котором рождаются все птички, превращающиеся потом в малень-

ких девочек или мальчиков... Ни одно человеческое существо, за исключением Питера Пэна — а он лишь наполовину человек — не смеет причаливать у этого острова, но вы можете написать, что хотите, на клочке бумаги — хочу быть мальчиком или девочкой, белокурый или брюнетом, — сунуть записку в судно и пустить его на воду... Когда спустятся сумерки, Питер Пэн непременно записку вашу получит...

А теперь мы возвращаемся домой, хотя нам очень хотелось бы побывать еще во многих местах. Я с удовольствием долго еще водил бы Давида по парку и присаживался с ним на каждой скамье, подобно старому м-ру Сальфорду. Мы называли его так потому, что он рассказывал нам о каком-то милом его сердцу городке Сальфорде, в котором родился. Это был маленький сморщенный старичок, бродивший по целым дням по парку от одной скамьи к другой, в поисках человека, который знает его родной городок Сальфорд... Мы уже знали его целый год, когда однажды случайно разговорились с другим старичком, который когда-то провел два дня в Сальфорде. Это тоже был тихий застенчивый старичок. Адрес своей квартиры он закладывал на донышко своей шляпы и, в какую бы часть Лондона ни отправлялся, он всегда шел к Вестминстерскому аббатству, и только с этого места находил дорогу туда, куда ему нужно.

было... Мы с торжеством повели его к нашему приятелю, и надо было видеть, с какой жадной радостью м-р Сальфорд накинулся на него. Они крепко подружились, и м-р Сальфорд,—он обыкновенно говорит за двоих,—всегда держит своего нового приятеля за полу сюртука...

По пути к воротам мы пройдем еще мимо Собачьего кладбища и Гнезда зябликов... Так как Портос всегда с нами, то мы делаем вид, что Собачьего кладбища не замечаем. На гнезде же зябликов мы набрали самым удивительным образом. Мы искали в кустах залетевший куда-то шерстяной шарик Давида, и, вместо шарика, нашли прелестное чистенькое гнездо, тоже выстланное шерстью, а в гнезде оказалось четыре яйца, с царапинками, очень напоминавшими почерк Давида... И мы подумали даже, что это нежные письма матери к маленьким птенчикам, не вылупившимся еще из яиц... Мы стали каждый день навещать это гнездо, с предосторожностями, конечно, дабы злые мальчишки не пронюхали о наших посещениях, бросали крошки хлеба в гнездо, и птичка вскоре подружилась с нами, и когда мы приходили, приветливо поглядывала на нас... Но однажды мы нашли в гнезде только два яйца, а на следующий день ни одного не оказалось. Бедная птичка кружила над кустами, и смотрела на нас с печальным укором—она, очевидно, считала нас виновниками

своего несчастья, и это было обидно и мучительно. Давид долго объяснял ей, что мы тут не при чем, но он так давно уже не говорил на птичьем языке, что вряд ли она могла его понять... В этот день мы ушли оба из парка с красными глазами...

XIV.

Питер Пэн.

Если вы спросите вашу маму, слышала ли она о Питере Пэне, когда была маленькой девочкой, она ответит: «Ну, да, конечно, слышала»... И если спросите, ездит ли он верхом на козле,—она ответит: «Какой глупый вопрос—конечно, ездил!»... Если вы спросите бабушку, слышала ли она о Питере Пэне, когда была маленькой, она тоже скажет: «Ну, да, конечно, слышала»... Но если вы спросите ее, ездил ли он тогда верхом на козле?—она ответит, что о козле она ничего не слышала! Быть может, она забыла. Она часто забывает даже, как зовут внука, и зовет его Мильдред,—а Мильдред это его мать. Она могла забыть и такое важное обстоятельство, как козел... Допустим даже, что в то время, когда ваша бабушка была маленькой девочкой, еще не существовало козлов... Во всяком случае, начинать с козла, рассказывая о

Питере Пэне, что многие делают, так же глупо, как надевать сюртук раньше жилета... Ясно, как день, что Питер Пэн очень стар, но возраст его остается неизменным... Ему всего семь дней, и хотя он родился давно-давно, у него нет дня рождения, и вряд ли даже он когда-нибудь его праздновал. Дело в том, что он перестал быть человеком, когда ему исполнилась неделя... Он вылетел в окно и вернулся обратно в Кенсингтонский парк.

Если вы воображаете, что он был единственным ребенком, надумавшим улететь из колыбели, то вы, очевидно, совершенно забыли первые дни своего детства... Когда Давид в первый раз выслушал эту историю, он был почти убежден, что он никогда не делал попыток улететь... Но я сказал ему, чтобы он прижал руки к вискам и хорошенько подумал, и когда он хорошенько подумал, то стал отчетливо вспоминать свое давнее детское желание вернуться опять на верхушки деревьев... Вслед за этим воспоминанием ожили многие другие: как он лежал в кровати и решил улететь, едва лишь мать уснет, и как она однажды поймала его за рубашку на полпути к камину... Все дети могут припомнить такие же минуты, если крепко прижмут ручки к вискам... Так как они были птичками перед тем, как приняли человеческий облик, то в первые недели они, понятно, кажутся дичками, и у них

сильно чешутся плечи, как раз в тех местах, где у них были раньше крылья... Это я знаю уже от Давида...

Обыкновенно, я сначала рассказываю ему какую-нибудь историю, а затем он рассказывает ее мне. Но это уже совсем другая история... Потом, я опять рассказываю, уже с его добавлениями, и мы продолжаем рассказывать ее друг другу, пока ни он, ни я уже сами не знаем, кем из нас двух она сочинена. В истории, например, о Питере Пэне, самый остов повести и размышления морального свойства принадлежат мне, хотя и мой мальчуган бывает иногда суровым моралистом... Но увлекательные описания нравов и обычаев у детей в птичьем состоянии принадлежат Давиду... Это его личные воспоминания, которые он воскресил в своей памяти, напряженно думая и прижимая ручки к вискам.

Итак, Питер Пэн вылетел в окно, которому еще не догадались приделать решетки. Стоя на подоконнике, он увидел далекие деревья—то были деревья Кенсингтонского парка. И глядя на них, он совершенно забыл, что он теперь мальчик в ночной рубашечке, и потому, прямо через крыши домов понесся в Кенсингтонский парк... Это удивительно, конечно, как он мог лететь без крыльев, но плечи у него чесались нестерпимо... И кто знает—быть может, мы все умели бы летать, будь у нас столько же мощной

Феры в свои силы, сколько было ее в этот вечер у смелого Питера Пэна...

Он весело опустился на лужайку, между дворцом маленькой девочки и озером Серпантин, и первым делом—прилег на спинку и подрыгал обеими лапками в воздухе. Он уже забыл, что еще недавно был мальчиком, и возомнил себя настоящей птичкой... Ему казалось, что он вновь преобразился в такую же птичку, какой был когда-то. Однако, когда он захотел поймать муху, это к его удивлению ему не удалось... А причина была та, что он хотел поймать ее рукой... Но какая же птичка ловит мух лапками?..

Он сознавал, однако, что было уже далеко за полночь—ибо кругом сновало много фей... Но они заняты были своим делом и даже не замечали его... Они готовили завтрак, доили коров, таскали воду... При виде ведер с водою ему захотелось пить и он полетел к Круглому пруду... Прилетев к пруду, он погрузил в воду свой клюв, он думал, что пьет клювом, а сунул-то он в воду свой носик, воды ему в рот попало очень мало, и никакого удовольствия он при этом не испытал... Тогда он попробовал напиться из лужи и шлепнулся в нее... Когда настоящая птичка шлепается в лужу, она расправляет перышки, и они тотчас высыхают на воздухе. Но Питер не мог вспомнить, что ему надо в

этом случае делать, и, надувшись, решил улечься спать в Детской аллейке, в листве тихо шелестевшего бука.

Ему очень трудно было примоститься на колыхавшейся ветке, но, наконец, он вспомнил, как это делается, и уснул. Проснулся он на заре, и дрожа от холода, проговорил про себя... «Никогда еще я не был на таком морозе»... Когда он был птичкой, он спал, конечно, и не на таком еще морозе... Но что хорошо для птички, то может быть совсем нехорошо для мальчика в одной ночной рубашонке...

Ему было как-то не по себе... Его беспокоили странные, непонятные звуки... Он оглядывался во все стороны, недоумевая, откуда идут эти звуки... А звуки шли из его носика — он все время чихал... Потом ему чего-то сильно, сильно захотелось, а чего именно он тоже не мог понять... А хотел он только, чтобы его мама утерла ему нос, но голова его плохо работала, и он решил обратиться к феям и спросить у них, чего ему так сильно хотелось...

Фей парка известны своей проницательностью...

В Детской аллее, обнявшись, прохаживались две феи, и он полетел к ним... И хотя у фей давние счёты с птичками, но все же на всякий вежливый, хотя бы и птичий вопрос они отвечают тоже очень вежливо... Можете представить

себе, каково было изумление Питера Пэна, когда эти две феи, едва завидев его, быстро убежали. Третья фея, небрежно развалившись в плетеном кресле, рассматривала почтовую марку, которую обронил накануне какой-то человек, но услышав голос Питера Пэна, испуганно ёрзавлась с места и спряталась за тюльпаном...

Он убедился вскоре, к своему изумлению, что при встрече с ним все феи разбегаются... Компания гномов, пиливших дрова, позади ядовитого гриба, увидев его, тоже бросилась бежать врассыпную, побросав работу и все свои инструменты... Скоро весь парк был охвачен панической тревогой. Толпы фей растерянно метались по дорожкам и храбро спрашивали друг друга, кого и чего они собственно испугались... И в то же время всюду гасли огни, захлопывались двери, а из дворца королевы Маб *) дались уже глухие перебаты барабанного боя, говорившего о том, что вызвана королевская гвардия... На Широкой аллее показался отряд всадников, вооруженных ветками остролистника, которым эти воины беспощадно рубят своих врагов... Питер Пэн слышал, как со всех сторон кричали о том, что в парке очутилось какое-то человеческое существо, — но ему и в голову не приходило, что существо это никто иной, как

он сам... А между тем, его все больше и больше беспокоил его грязный носик, он не знал, что ему предпринять, и тщетно гнался за обитателями парка с столь важным для него в эти минуты вопросом... Нежные маленькие существа разбегались перед ним, и даже всадники, увидав его подле Холма, быстро свернули в боковую аллею, под предлогом, что заметили здесь человека.

Потеряв надежду добиться ответа от фей, Питер Пэн решил обратиться к птичкам, и тут только вспомнил, что все птички улетели с бука, едва он опустился на ветку... В ту минуту он не обратил на это внимания, но теперь он догадывался, что и птички его испугались. Все живое избегало его... Бедный Питер Пэн... Он сел на землю и заплакал, но даже и в это мгновение он не сознавал, что никогда птички не сидят и не плачут так, как сидел и плакал он... И хорошо, что он не знал об этом... Иначе он утратил бы веру в свою способность летать. А как только вы начинаете сомневаться в своем умении летать, вы навсегда уже утрачиваете эту способность. Потому-то птички и умеют летать, что они верят, а верить это значит — иметь крылья..

На островок на озере Серпантин можно попасть только по воздуху, лодкам запрещено причаливать к его берегам. Островок обведен торчащими из воды жердями, и на каждой жерди

*) Легендарная партия фей.

денно и ночью караулят птички — часовые... На этот-то островок и полетел Питер Пэн, чтобы рассказать о своем горе Соломону-Ворону... С чувством облегчения спустился он там на землю, ибо недаром птички называют этот остров своей родиной. Питеру Пэну приятно было очутиться, наконец, дома. Все птички спали. Спали и часовые... Бодрствовал только один Соломон-Ворон. Он спокойно выслушал грустную повесть Питера о его злоключениях и откровенно заметил ему:

— Да ты погляди на свою ночную рубашку...

Питер растерянно посмотрел на себя, потом на ставших птичек... Они были все без ночных рубашек.

— Много ли у тебя коготков на лапках? — уже с оттенком насмешки в голосе спросил Соломон-Ворон. И Питер Пэн к несказанному смущению своему увидел, что у него нет ни лапок, ни коготков. У него были ножки и пальчики... Это так поразило его, что он забыл даже и про холод. — А ну-ка встряхни перышками! — упрямо продолжал старый Соломон, и Питер тщетно и с отчаянием дергал плечиками и вскидывал ручки: у него не было перышек... И тут только, впервые с той минуты, когда он вскочил на подоконник, он вспомнил об одной женщине, нежно любившей его...

— Счастливого пути... — ответил Соломон-Ворон и как-то странно так на него посмотрел.

Питер нерешительно топтался на одном месте.

— Что же вы не уходите? — вежливо спросил старик.

— Но надеюсь... — прерывающимся голосом сказал Питер, — я могу еще летать?

Вы понимаете, он начал уже сомневаться...

— Бедненький ты «Ни то, ни се» — сказал Соломон, у которого было, в сущности, предоброе жалостливое сердце... — Никогда ты уже не будешь летать, даже в ветреные дни... Теперь ты должен навсегда остаться на этом острове...

— И даже в Кенсингтонском парке никогда не смогу бывать? — с ужасом спросил Питер Пэн.

— Как же ты туда попадешь? — сказал Соломон. Однако, он ласково пообещал мальчику научить его разным птичьим обычаям и способам устраивать свою жизнь, поскольку, конечно, все это могло быть доступно для такого странного существа, как он...

— Значит, я уже не буду мальчиком? — спросил Питер.

— Нет.

— И настоящей птичкой не буду?

— Нет.

— Чем же я буду?

— Будешь «Середка-на-половину»,—ответил старый мудрый Соломон.

Птички на острове не могли привыкнуть к Питеру. Каждый день они начинали вновь изумляться его странностям, как чему-то невиданному... Это объяснялось тем, что птички каждый день были здесь новые... Они ежедневно вылуплялись из яиц и тотчас же принимались смеяться над Питером. Одни из них улетали и превращались в мальчиков и девочек, и на смену им вылуплялись из яиц другие птички...

И так без конца...

Были и такие матери, которым надоело сидеть долго на яйцах, и они хитростью вынимали раньше срока своих птенчиков из скорлупы: нашептывали им, что вот как раз теперь они могли бы увидеть, как Питер Пэн моется, или как Питер Пэн пьет или ест... Они ежедневно окружали его целыми стаями и смотрели, как он все это проделывает, так же как мы смотрим на павлинов, и взвизгивали от удовольствия, когда он ловил бросаемые ему крошки хлеба руками, а не ртом, как они это делали. По распоряжению Соломона, птички приносили пищу для Питера из Кенсингтонского парка... Он не ел ни насекомых, ни червячков—(что они считали большим малодушием с его стороны), и они приносили ему хлеб в своих клювах... Вот почему, дети, не надо кричать птицам с большими корками в клювах—

«Жаднюга! Жаднюга!»...—они тащат эти корки не для себя, а для Питера Пэна...

На Питере не было уже его ночной рубашечки. Птички выпрашивали у него куски полотна для подстилки в гнездах, и он, по доброте сердечной, не мог им отказать, хотя небольшие лоскутки, следуя совету Соломона, всетаки припрятал на память! Он ходил теперь голенький, но не подумайте, однако, что он зяб или чувствовал себя несчастным... Ничуть не бывало! Он был всегда весел и счастлив, потому что Соломон-Ворон сдержал свое обещание и научил его жить по-птичьи... Он научил его быть довольным и всегда делать что-нибудь, и верить, что все, что он делает,—чрезвычайно важно и нужно...

Питер Пэн успешно помогал птицам вить гнезда. Он скоро стал мастерить гнезда не хуже лесных голубей и почти так же хорошо, как черные дрозды... Одним только збликам он никак не мог угодить... Он устроил близ гнезд желоба для дождевой воды и пальцами добывал из земли червячков для птенчиков... он скоро научился так же, как птицы, отличать по запаху западный ветер от восточного, и глаза его видели, как растет трава, а ухо улавливало шорох насекомых в дуплах деревьев... Ворон научил сердце его радоваться, и это было самое лучшее. Все птицы беззаботны и веселы до тех пор, пока дети

не разоряют их гнезд, и так как Соломон-Ворон ведал только птичьи сердца, то ему не трудно было вложить птичьи радость и ясность и в сердце Питера Пэна...

Питеру Пэну было так хорошо, что он по целым дням распевал песни, подобно тому, как заливаются от радости птицы... Но так как он был и человек, то ему скоро понадобился музыкальный инструмент. Он вырезал себе дудочку из тростника, и сидя по вечерам на берегу, старался передать на своей дудочке шум ветра и плеск воды, или, поймав пригоршнями лунный свет, вкладывал его в свою дудочку, и так хорошо все это передавал в звуках, что птички часто дивились и спрашивали друг друга: «Что это—рыба в воде плещется или это Питер Пэн играет?»—Иногда он наигрывал мотив, изображавший рождение птенчиков, и тогда матери спешили к своим гнездам—поглядеть, снесли ли они яички в этот день...

Все дети, гулявшие в Кенсингтонском парке, знают, что самое близкое к острову каштановое дерево, растущее у самого моста, зацветает раньше всех других. Но не все дети знают, отчего оно зацветает раньше других деревьев... Дело в том, что Питер Пэн всегда нетерпеливо ждет весны, и играет на своей дудочке, что она уже пришла, и каштановое дерево слышит с моста его песни, верит им, зачарованное, и зацветает...

Но иногда музыка навеивает грусть на Питера, и тогда в его песенку вплетаются печальные ноты, и чем больше он играет, тем тоскливее они звучат... Питер Пэн скучает о Кенсингтонском парке, хотя и может видеть его издали сквозь арки моста... Он знает, что никогда уже не будет больше мальчиком, да ему этого и не очень хочется—но, ах!.. Как он жаждет играть, подобно другим детям... Во всем мире нет другого такого пленительного места для игр, как этот Кенсингтонский парк... Птицы рассказывали ему каждый день, как резвятся в парке девочки и мальчики, и тогда тоскливые слезы застилали глаза Питера.

Вас удивляет, что он ни разу не решился пробраться в парк... Да просто потому, что он не умел плавать. Он жаждал этому научиться, но никто на острове не мог объяснить ему, как это делается, никто, кроме уток. Но, ведь, утки так глупы,—что они могут объяснить?.. Они и не прочь были бы его научить, но ничего не могли сказать ему, кроме:

«Ну, ложись на воду... вот так... и потом—вот так...»

Питер пробовал ложиться на воду вот так, потом—вот так,—но из этого ничего не выходило... Он тотчас же нырял до самой макушки... Он очень хотел понять, как именно надо держаться

на воде, но утки на это ему отвечали, что таких простых вещей даже объяснить нельзя... Иногда к острову приплывали и лебеди, и он отдавал им всю свою провизию в надежде, что они из благодарности научат его плавать... Но с'ев все, что он мог дать им, лебеди начинали шипеть на него, и уплывали...

Однажды ему показалось, что он нашел, наконец, способ попасть в парк... Над островом в один прекрасный день показался какой-то удивительный белый предмет, похожий на газетный лист. Предмет этот упал вскоре на землю и стал подпрыгивать, как птичка с сломленным крылышком... Питер так испугался, что даже спрятался, но птички объяснили ему, что это просто бумажный змей и что он, вероятно, вырвался вместе с бечевкой из рук какого-нибудь мальчика... А через некоторое время уже все птички подтрунивали над любовью Питера к этому змею... Он так полюбил этого змея, что даже спал, обнимая его одной рукой... Это было очень трогательно—ведь он любил этого змея только потому, что тот был раньше в руках другого мальчика...

Птички, конечно, не могли оценить этой привязанности, но некоторые из них были все же очень признательны ему за то, что он нянчился с их птенчиками, когда они болели корью, и в награду за это птички предложили ему показать,

как дети пускают змей... Шесть птиц ухватились клювами за бечевку и полетели вверх... К великому удовольствию Питера змей полетел за ними, и временами взлетал даже выше их...

Питер радостно визжал:

«Еще!.. Еще!..»

И птицы добродушно проделывали это опять и опять, а он, вместо того, чтобы поблагодарить их, все визжал: «Еще! Еще!..»

Как видно, он не успел еще хорошенько позабыть к тому времени, что он был когда-то мальчиком...

Решимость клокотала в его сердце и не давала ему покоя. Он уговорил птиц опять поднять змея, но на этот раз уже вместе с ним... Он уцепился за хвост змея, и около сотни птиц схватили бечевку клювами и полетели... Вы догадываетесь, конечно, какой план был у Питера? Он рассчитывал соскочить с змеиного хвоста на землю, как только змей долетит до Кенсингтонского парка... Но змей разорвался в воздухе на клочки, и Питер Пэн, наверно, утонул бы в озере Серпантин, если бы не ухватился за двух лебедей, которые, хотя и не очень охотно, но все же благополучно доставили его опять на остров... Птицы же твердо заявили ему, что больше ни за что не станут помогать ему в таких проказах...

И, однако, Питер Пэн в конце концов, все-

таким попал в Кенсингтонский парк... Попал он туда, благодаря лодочке Шелли *)...

Ну, а теперь я расскажу вам о Шелли и его лодочке...

XV.

Гнездо дрозда.

Шелли был молодой человек, почти взрослый... Он был поэт, а поэты вполне взрослыми людьми никогда не бывают... Это народ, который деньги ставит ни во что и дорожит ими лишь постольку, поскольку они нужны на сегодняшний день... А на сегодняшний день у них всегда достаточно, и даже с избытком, всегда есть несколько фунтов лишних... И вот этот Шелли, гуляя однажды в Кенсингтонском парке, сдул лодочку из банкового билета и пустил ее на озеро Серпантин...

Лодочка приплыла к острову ночью, и часовой принес ее Соломону-Ворону... Соломон подумал, что это обычное послание от какой-нибудь женщины: будь вам, мол, чрезвычайно признательна, если пришлете мне милого ребеночка!.. Все они, конечно, просят прислать самого милого... И если письмо понравится Соломону-Ворону, он pošлет экземпляр первоклассный, а

не угодит ему авторша письма, она получает такое сокровище, что и жизни не обрадуешься. Иногда Соломон вовсе оставляет письмо без ответа, а иной раз, вместо одного, pošлет целую кучу ребят... Все это зависит только от его настроения... И потом, он не терпит никаких указаний... Он уверен, что лучше кого бы то ни было знает, кому какого ребенка послать... И если вы станете просить, чтобы на этот раз он послал вам мальчика, можете быть уверены, что получите девочку. Затем—имейте это в виду—пишет ли ему дама или мальчик, которому захотелось иметь сестричку, все равно—адрес должен быть написан чрезвычайно четко... Не угодить Соломону-Ворону, значит—накликать на себя верную беду.

Но, развернув лодочку Шелли, Соломон совершенно растерялся и призвал на совет двух своих помощников. Те два раза прошлись по бумажке—сперва вытянув коготки, потом втянув коготки, и решили, что это послание от какой-то жадной женщины, желающей получить сразу пятерых ребят. На эту догадку навела их выведенная на банковом билете цифра—«пять»—пять фунтов...

— Какой вздор!—воскликнул Соломон и отдал билет Питеру. Всякие бесполезные вещи, попадавшие на остров, отдавались Питеру на забаву... Но Питер Пэн не стал играть с драгоценным

*) Знаменитый английский поэт.

билетом... Он тотчас сообразил, что это за бумажка... За семь дней, когда он был обыкновенным мальчиком, он успел кое-что узнать и сделать много пригодившихся ему позднее наблюдений. И он подумал, что с такой суммой денег ему удастся, в конце концов, осуществить свою мечту и попасть в Кенсингтонский парк. Он стал взвешивать все способы и остановился, конечно, на самом остроумном. Прежде всего, он счел долгом объяснить птицам ценность лодочки Шелли. И хотя они были слишком благородны, чтобы потребовать билет обратно, от его внимания не ускользнули, однако, сердитые взгляды, которыми они бросали Соломону. А Соломон очень гордился своей проникательностью и разоблаченный этими взглядами, улетел на другой конец острова, опустился на траву, втянул голову между крыльями и пригорюнился. Питер Пэн знал, что пока ему не удастся склонить на свою сторону Соломона, он ничего не добьется, и он пошел вслед за ним, чтобы утешить и развеселить его...

Питер Пэн сумел так покорить сердце всевластного старого Ворона. Дело в том, что Соломон не рассчитывал оставаться всю свою жизнь на этом посту. Он давно уже подумывал о выходе в отставку и мечтал дожить свои дни в каком-нибудь дупле в фиговой аллее, которую давно облюбовал для себя... С этой целью он

несколько лет исподволь наполнял свой чулок. Чулок этот, очевидно, принадлежавший какому-нибудь купальщику, принесло на остров течением, и к тому времени, о котором сейчас идет речь, Соломон успел уже накопить сто восемнадцать крошек хлеба, тридцать четыре орешка, шестнадцать корок, тряпочку для вытирания перьев и башмачный шнурок. Соломон рассчитал, что когда чулок будет полон до края, он сможет выйти в отставку и жить на эти сбережения безбедно. И вдруг он получил еще от Питера целый фунт стерлингов. Питер отрезал его от своего билета острым кончиком веточки. Этим он окончательно покорил Соломона и приобрел в нем верного друга навеки. Они поговорили по душе, потолковали и решили созвать на совещание дроздов. Я объясню вам сейчас, отчего только одних дроздов.

Проект, который предполагалось предложить на обсуждение, принадлежал в сущности Питеру, но говорил за всех один Соломон... Он раздражался, когда другие говорили в его присутствии, и любил, чтобы слушали его одного... Начал он с того, как он высоко ценит строительное искусство дроздов, и тотчас же привел их в отличное настроение духа, что и входило в его план. Все препирательства между птицами происходят обыкновенно только на почве соревнования в искусстве сооружения гнезд...

— Другие птицы,—говорил Соломон-Ворон,— не считают нужным выстилать свои гнезда глиной, и поэтому вода в них никогда не держится...

И он вскинул голову с таким видом, словно привет неопровержимый довод в подтверждение своей правоты, но к несчастью, одна зябличиха, пожаловавшая без приглашения на собрание, выступила вперед и завизжала:

— Извините, пожалуйста, мы вьем гнезда не для воды, а для яиц...

Дрозды опешили, а Соломон так растерялся, что должен был несколько раз обмакнуть свой клюв в воду.

— Но, принимая во внимание,—начал он, наконец,—тепло, которое сообщает глина гнезду...

— А вы примите во внимание,—перекричала его зябличиха,—что когда в гнездо попадает вода, она там уже остается, и птенчикам грозит опасность утонуть...

Дрозды взглядами умоляли Соломона ответить зябличихе каким-нибудь уничтожающим доводом, но он опять растерялся и молчал.

— Выпейте еще немного воды,—вызывающе бросила ему зябличиха. Ее звали Кэт, а все Кэт, как известно, особы чрезвычайно дерзкие...

Соломон хлебнул еще воды, и на него снизошло вдохновение.

— Если спустить на озеро зябличье гнездо,—начал он,—оно тотчас наводняется водой и рас-

ползется по всем швам, а дроздово гнездо остается сухим, как спинка лебедя...

Дрозды тут захлопали крыльями и заликовали. Они-то знали, зачем выстилают свои гнезда глиной, и когда зябличиха закричала: «Нам вовсе незачем пускать наши гнезда на озеро», они сделали то, что должны были, в сущности, сделать в самом начале: предложили незваной гостье убраться честь-честью... С ее уходом опять водворился порядок. Соломон доложил почтенному собранию, что юный друг их Питер Пэн, как им всем известно, давно уже жаждет попасть в Кенсингтонский парк, и он предлагает с их помощью построить для него лодку...

Дрозды беспокойно засуетились, и Питер, весь дрожа от волнения, уже подумал было, что он имеет в виду не громоздкую лодку, какие делают люди, а предлагает только построить большое дроздово гнездо, в котором Питер мог бы свободно уместиться...

Но дрозды, к ужасу Питера, упорно молчали...

— Мы народ занятой,—раздалось несколько недовольных голосов,—ведь, это работа не шуточная...

— Совершенно верно,—сказал Соломон,—и Питер не намерен вовсе даром пользоваться вашим трудом... Имейте в виду, что он располагает теперь солидными средствами и, согласитесь, у вас не было еще никогда такого заработка, ка-

кой он может вам предложить... Он уполномочит меня передать вам, что будет платить вам всем шесть пенсов поцеленно.

Дрозды запрыгали от радости и в тот же день, после подобающего случаю торжества, приступили к постройке лодки. Они забросили все свои дела. Не вили своих гнезд, не клали и не высиживали яиц, и Соломон стал скоро ощущать заметный недостаток в дроздах—ему нечем было удовлетворять беспрерывно поступающие требования от людей... Ведь, все здоровые, пышные дети, которые так очаровательны в своих колясочках и пыхтят и задыхаются, когда начинают шагать по земле,—были раньше дроздами... И женщины часто подчеркивают в своих письмах, что им желательно было бы получить именно дрозда... Но Соломон и тут нашел выход из затруднения. Он вызвал с крыш домов целую стаю воробьев, приказал им класть яйца в дроздовы гнезда, и птенчиков их разослал обращающимся к нему женщинам, уверяя их, что это настоящие дрозды... В летописи острова этот год назван был Воробьиным. И если вы встретите в парке взрослых людей, которые важничают и пыжались, и Бог знает, что о себе воображают,—так и знайте, что они родились в воробьином году. Можете даже их спросить...

Питер был весьма добросовестным хозяином, и каждый вечер рассчитывался со своими рабо-

чими. Птицы выстраивались на ветках и чинно смотрели, как он отрезал для них по шести пенсов от своего банкового билета. Затем Питер делал переключку, и каждая птичка, которую он вызывал по имени, слетала с ветки и получала свою долю... Это было, надо думать, восхитительное зрелище!..

Наконец, после долгих месяцев работы, лодка была готова. Не трудно представить себе, с каким восторгом Питер следил за ростом этого гнезда... С того самого дня, как дрозды принялись строить эту лодку, он спал рядом с нею, просыпаясь, шептал ей нежные слова, а когда птицы выложили ее глиной, и когда глина просохла, он стал уже и спать в самой лодке... Он тихо лежал в своем гнезде, свернувшись в клубок. Лодка была достаточно вместительна для того, чтобы он мог нежиться в ней, как котенок... Внутри она была коричневая, а снаружи зеленая, потому что обложена была ветками и травой... И, когда ветки засыхали, и трава увядала, птицы делали новую настилку...

Другие птицы, конечно, завидовали дроздам и уверяли, что лодка не будет держаться на воде, но она отлично держалась... Они говорили, что в нее будет просачиваться вода, но вода вовсе не просачивалась... Тогда они зачирикали, что у Питера нет весел, и дрозды тревожно перелгались... Но Питер заявил, что ему весел

не надо, что у него есть парус... И он с гордым счастливым лицом соорудил свой парус из оставшейся у него ночной рубашки, которая все еще была ночной рубашкой, хотя он оторвал от нее много лоскутков для птиц... И парус вышел на славу. Ночью, когда на небо выплыл полный месяц и все птицы уснули, он оттолкнул лодку от берега, поднял парус и поплыл с острова... В первые минуты, он, сам не сознавая почему, все смотрел, скрестив руки, вверх на небо, а затем уже не сводил глаз с запада, куда ему надо было плыть.

Он обещал дроздам, что начнет с маленьких поездок по озеру и то в сопровождении старших, но, когда увидал за мостом пленительный Кенсингтонский парк, сердце его затрепетало от радости, и он забыл о данном им обещании... Лицо его пылало, но он безбоязненно плыл, не оглядываясь назад. Восторг, овладевший им, вытеснил страх из его маленького сердца... Да, Питер Пэн был одним из тех отважных английских мореплавателей, которых и теперь еще неодолимо влечет неведомая даль...

Вначале лодочка его все кружила на одном месте, и ее вновь и вновь относило течением к тому месту, откуда он отплыл... Тогда он убавил паруса, подогнув один рукав своей ночной рубашечки, и в тот же миг его умчало ветром... назад... Он быстро распустил тогда паруса, но ло-

дочка его быстро поплыла к далекой незнакомой ему части берега, вдоль которого лежали черные тени, внушавшие ему смутный страх, хотя он и не знал, что это подводные камни... Он вновь убавил паруса, и огибая подозрительные темные пятна, старался попасть в полосу попутного ветра. Попутный ветер понес его с такой быстротой, что он едва не разбился о столбы моста... Ему удалось, однако, избежать и этой опасности. Когда он выплыл из-под моста, он увидал, наконец, с великой своей радости—восхитительный Кенсингтонский парк. Он хотел уже бросить якорь,—а якорь этот был просто камушек, привязанный к бечевке, оставшейся от бумажного змея,—но, не находя дна, должен был поплыть дальше и искать места, где бы ему ошвартоваться. Бродя наугад в незнакомых ему водах, он наскочил на подводный риф... Сильным толчком его выбросило за борт, и он едва не утонул, но, к счастью, успел ухватиться за край лодки и ловко вскочил в нее обратно. Нежданно поднялась буря, сопровождаемая таким ревом волн, какого ему никогда еще не приходилось слышать. Его метало, как щепку, во все стороны, и руки его так оцепенели от холода, что он не мог ни сжать их, ни расправить пальцы. Но он одолел и эту опасность, и, наконец, благополучно в'ехал в небольшой залив, где лодочка его и причалила к берегу...

Однако, ему и тут еще предстояло одолеть не мало затруднений. На берег при его появлении высыпало множество маленьких существ и тоненькими голосами наперерыв стали кричать ему, что ему на берег сходить не полагается, и чтобы он тотчас удалился, потому что давным давно уже пробило полночь...

При этом они воинственно размахивали ветками и притащили даже стрелу, забытую в парке каким-то мальчиком... Было ясно, как день, что они не задумаются использовать против него и это оружие.

Питер знал уже, что это феи. Он встал, выпрямился и крикнул им, что у него нет никакого намерения причинять им неприятности, что, наоборот, он жаждет быть их другом... И, что найдя, наконец, удобную гавань, он отсюда не уедет ни в каком случае, и если они не дадут ему сойти на берег, то он сумеет за себя постоять.

С этими словами он смело выпрыгнул из лодки, и феи окружили его плотной стеной, с намерением тут же покончить с ним... Но вдруг среди них поднялся вняг и крик—они увидели, что парус сделан был из детской ночной рубашечки... И так как они не даром были женщинами, то все мгновенно вспыхнуло любовью к нему и все в один голос затараторили о том, что складочки плохо сделаны... Какой именно недоста-

ток они нашли в складочках, я объяснить вам не сумею, но все женщины таковы—они не могут не крикиковать работы другой женщины. Эльфы, видя, что жены их, феи, с мнениями которых они очень считались, положили гнев на милость, опустили оружие на землю... Воинственный пыл их тотчас остыл, и они учтиво повели его к своей королеве, которая милостиво разрешила Питеру вход в парк после полуночи, а феям от имени королевы наказано было оказывать Питеру всевозможные знаки внимания...

Так состоялась первая поездка Питера в Кенсингтонский парк, и по некоторой старомодности языка, каким она была описана, вы догадываетесь, конечно, что это было очень давно. Но Питер остался таким же, каким был, и если бы мы могли проследить за ним ночью, как он wpłyвает под мост (к сожалению, это совершенно невозможно)—мы бы увидели, что он укорачивает свою ночную рубашонку, которая служит ему парусом, или распускает парус, или гребет маленьким веслом, подгоняя свое дроздовое гнездо. Когда он правит парусом, он сидит, а гребет он стоя...

Он, обыкновенно, возвращается на остров далеко до того, как открываются ворота парка, потому что люди не должны видеть его—все-таки он не вполне человек. В его распоряжении, однако, всегда имеется несколько часов для шпр, и

он играет и тешится, как играют и тешатся настоящие дети... По крайней мере, ему так кажется, и самое трогательное то, что он часто играет совсем не так, как играют настоящие дети, и часто даже не знает, как приняться за ту или иную игру...

Кто мог научить его детским играм? Феи, обыкновенно, прячутся днем, когда дети бывают в парке, и детских игр не видят. Птицы же хвастали, что могут рассказать чудеса о детских утехах, но, когда Питер пристал к ним и попросил их, чтобы они рассказали ему толком, как играют дети, то оказалось, что они ничего толком объяснить не в состоянии... Они только рассказали ему об игре в прятки, и он часто сам с собою играл в прятки, но даже утки и те не могли объяснить ему, отчего детей так смешит эта игра, и отчего они так заливаются и хохочут вокруг пруда, когда играют в прятки... К вечеру утки, обыкновенно, забывали все, что видели и слышали в течение дня, и запоминали только количество крошек, которые им бросили... Это были тяжелые, скучные создания, а они еще уверяли, что в дни молодости их волновали и другие интересы, а не одни только бисквитные крошки... И Питеру Пэну приходилось доходить до многого своим умом. Он играл и в мореплавание у Круглого пруда, но единственным его судном был обруч, который он нашел в траве.

Никогда прежде он не видел обруча и долго ломал себе голову над тем, как надо играть с этой штукой, пока не решил, что это, очевидно, детский кораблик.

Обруч упрямо погружался в воду, каждый раз, когда он бросал его в пруд, но Питер отважно вылавливал его, и гордился тем, что сам додумался до того, как мальчики играют обручем...

В другой раз он нашел игрушечное ведро и, подумав, что дети приносят его с собою в парк, чтобы отдохнуть на нем, уселся на ведре так плотно, что едва не вышел дна. Нашел он также и воздушный шар. Шар попрыгивал на холме, будто играя сам с собою, и Питер, восхищенный находкой, погнался за ним и поймал его... Он думал, что это мяч. Птичка королек рассказывала ему, что дети носками подбрасывают мячи... И он так сделал, взял и ножкой подбросил воздушный шар; а тот покатился с холма, и след его простыл.

Но больше всего его поразила детская колясочка. Она стояла под липой, недалеко от входа в Зимний дворец королевы фей. Питер Пэн тихонько приблизился к колясочке—он не знал, что это такое. Птички о детских колясочках ничего ему не рассказывали. Полагая, что это живое существо, он вежливо с ней заговорил. Но колясочка не отвечала. Тогда он подошел еще

ближе и осторожно дотронулся до нее. Он чуть-чуть толкнул ее, и она откатилась. Он решил, что это всетаки живое существо, но так как она словно убегала от него, то он не очень испугался. И он протянул руку, чтобы притянуть ее к себе, и тогда она быстро устремилась к нему. Но тут уже он так струсил, что мгновенно перескочил через изгородь и со всех ног бросился к своей лодочке... Вы не думайте, однако, что он был трус—в следующую ночь он пришел опять к этому месту с коркой хлеба в одной руке и палочкой в другой, но колясочки уже не было, а другая ему больше на глаза не попадалась.

Я обещал вам рассказать еще о его весле. Он нашел его подле колодца св. Слова—это была просто детская лопаточка.

Вы, вероятно, жалеете Питера Пэна за все его ошибки... Напрасно!.. Конечно, ему туго приходилось порою, но только жалеть Питера Пэна было бы даже обидой для него. Ему казалось, что он бесконечно счастлив в Кенсингтонском парке, а воображать себя счастливым, это все равно, что быть таковым в действительности... Он играл без устали и перерыва, тогда как сколько драгоценного времени другие дети тратят на капризы и на слезы... Он никогда не мог разыгрывать ни «бешеную собаку», ни «Мэри-Анни», потому что никогда о таких вещах и не слышал... Но неужели надо его за это жалеть?

О, как он веселился, этот Питер Пэн! Он был несравненно веселее вас, так же как вы все веселее своих отцов. Иногда он кружился по парку, как юла—просто от избытка радости... Видали вы, как левретки прыгают через изгороди парка? Так вот прыгал и Питер Пэн.

И потом, его дудочка!.. Можете представить себе, какие песни он выводил на ней в те дни... Люди, возвращавшиеся домой поздно ночью, писали в газетах, что слышали соловья в Кенсингтонском парке, но слышали они на самом деле дудочку Питера Пэна.

Правда, мамы у него не было... Но зачем ему нужна была мама? И если бы за это его жалеее, то могу вас утешить... В конце концов, ему удалось таки навестить свою маму. И помогли ему в этом феи Кенсингтонского парка...

XVI.

Полночный час.

О феях у нас имеется очень мало точных сведений. Едва ли не единственно достоверная истина сводится к тому, что фей можно встретить везде, где бывают дети... Когда-то давно, вход в Кенсингтонский парк был запрещен детям, и в те времена здесь не было и фей. Когда же ворота парка открылись для ребят, и

парке стали появляться по ночам и феи... Они не могут жить вдали от детей, но детям редко выпадает на долю удовольствие видеть их... Во первых, потому что днем феи прячутся за густыми изгородями, куда детям лазить не полагается и еще потому, что феи хитрые создания... После полуночи, они заняты своими делами и утехами, и тогда им не до хитростей. Но до полуночи, они проведут кого угодно...

Дети, до того, как они делаются детьми, водят знакомство с феями, играют с ними, и в первые годы детства воспоминания о феях у детей свежи и живы.

Как жаль, что маленькие дети неграмотны и не могут записывать своих воспоминаний, которые скоро, к сожалению, бледнеют и угасают...

Мне приходилось даже слышать из уст многих детей, что они будто бы никогда никаких фей не знали! Между тем, возможно даже, что, когда они произносили эти слова в Кенсингтонском парке, они смотрели на какую-нибудь фею-невидимку... Днем феи всегда принимают облик каких-либо неодушевленных предметов и, таким образом, вводят в заблуждение доверчивых детей... Преображаются они большей частью в цветы — оттого-то в парке, особенно в Детской аллее, так много цветов — ведь цветок всего меньше возбуждает подозрения...

И одеваются они в тон цветам... Когда цветут лилии, феи наряжаются в белое, когда распускаются колокольчики, — в голубое... Они обожают яркие цвета — гиацинт и шафран, но охотнее всего рядятся в тюльпаны, только не в белые. — Белые тюльпаны — колыбельки маленьких фей...

Когда они знают, что их никто не видит, они весело порхают по парку, но едва заметят, что кто-либо наблюдает за ними, тотчас превращаются в цветы... И когда вы проходите мимо них, не подозревая даже, что прошли мимо фей, они летят домой и рассказывают своим матерям, как они искусно провели какого-то человека...

На лужайке фей, как вам известно, растет много разных цветов, в том числе и собачья мята. Феи выжимают из нее касторку для своих детей. Некоторые цветы, действительно, настоящие цветы, но большей частью, это — феи... Какой цветок — настоящий цветок, и какой цветок — фея, угадать очень трудно... Но вот что надо делать, чтобы узнать... Прогуливайтесь мимо лужайки, равнодушно глядя совсем в другую сторону, потом внезапно круто повернитесь на каблучках, и тогда вы можете поймать одну из фей врасплох... Есть еще один способ — мы с Давидом иногда прибегаем к нему: надо долго, долго смотреть на цветок в упор — раньше или

позже он непременно моргнет глазами, и тогда ясно, как день, что это не цветок, а фея...

На Детской аллее есть уголки, известные, как любимое местопребывание фей. Однажды с двадцатью четырьмя феями произошел здесь презабавный случай... Это был целый пансион, вышедший на прогулку со своей классной дамой... Вдруг она поднесла палец ко рту, и все феи тотчас притихли, рассыпались по большой клумбе и превратились в гиацинты.

К ужасу своему наставница вскоре услышала шаги двух садовников, приближавшихся с тачкой к этой самой клумбе... Они пришли с тем, чтобы посадить на клумбе цветы, и немало удивились, увидав, что она уже вся в цвету.

— Жалко вырывать эти гиацинты,—заметил один из них.

— Чего уж там... Раз велено!—ответил другой и, высыпав на землю привезенную рассаду, они выкопали гиацинты вместе с луковицами и сложили их в тачку рядами... Ни феи, ни наставница их пикнуть не решились, и их свезли далеко в какой-то сарай, где и свалили без церемоний в одну кучу... Они убежали оттуда ночью, забыв впопыхах надеть чулки и туфли... Родители этих девочек, конечно, страшно перепугались и рассердились... Пансион же должен был закрыться, потому что после этой скандаль-

ной истории, получившей широкую огласку, всех девочек взяли домой...

Дома, в которых живут феи, можно видеть только ночью,—днем это совершенно немыслимо... Просто потому, что они все такого же цвета, как и ночь. Ну, а кто же днем видал когда-либо ночь?.. Это не значит вовсе, что дома фей черного цвета, потому что ночь, пожалуй, даже богаче красками, чем день. Синие, зеленые и красные цвета ночи, быть может, даже сочнее дневных синих, зеленых и красных тонов. Дворец королевы фей построен целиком из многоцветных стекол, и это прекраснейший из всех королевских дворцов в мире, но королева все же жалуется порою... Простой народ заглядывает в ее окна, смотрит, что она делает, и ее очень тяготит это любопытство... Иные праздные феи целыми часами не отходят от окон и жадно разглядывают королевские хоромы, плотно прижавшись лицом к стеклу—оттого-то у многих приплюснутые носики. Улицы в царстве фей тянутся на много верст, крутыми извивами, и по обе стороны идут тропинки, выстланные пухом... Птицы стали было таскать пух для своих гнезд, но полиция во время предупредила дальнейшие хищения...

Самая существенная разница между феями и нами в том, что они никогда никаким серьезным делом не занимаются... Когда первый ребя-

нок впервые рассмеемся, смех его рассыпался на миллионы радужных осколков, и феи закружились над ними роем... С той поры они и полюбили детей... Вид у фей всегда страшно занятой,—поглядеть на них,—минуты свободной нет, а спросите их, что они, собственно, делают, и они, конечно, толком на это вам ответить не сумеют... Они чрезвычайно невежественны, и все, что сделано их руками, сделано на фу-фу... У них есть и почтальон, но он их никогда не беспокоит, разве только на Рождество, когда приносит им подарки; у них прекрасные школы, но в них ничему не учат... В хозяйки дома обыкновенно выбирают самую младшую в семье фею, и, конечно, ее никто не слушается... Все убегают гулять и возвращаются домой, когда кому вздумается... Надо заметить, что в семьях фей младший член семьи всегда играет первую роль и обыкновенно возводит в принцы или принцессу... Дети это помнят и полагают, что так должно быть и у людей...

Вы, быть может, обратили внимание на то, с каким упорством ваша маленькая сестренка проделывает именно то, что мать и няня просят ее не делать: ей нужно непременно стоять, когда ей полагается сидеть; она сидит, когда ее убеждают встать; она просыпается, когда должна спать, ползает по полу, когда на нее надевают самое нарядное платье, и так далее...

И вы, конечно, приписываете все это ее дурному характеру.

Совершенно напрасно! Она ведет себя так лишь потому, что так вели себя феи, среди которых она жила, когда была еще птичкой... И только прожив года два среди людей, она осваивается с людскими обычаями. А вспышки ее и капризы, с которыми так трудно порою сладить и которые старшие объясняют мучительным прорезыванием зубов!.. Дело здесь вовсе не в зубах!.. Она просто в отчаянии от того, что мы ее не понимаем, потому что она говорит на непонятном нам языке фей... Матери и няни, однако, так много возятся с детьми, что, в конце концов, запоминают несколько фейных слов, и когда маленький ребенок говорит: «Тютю...»—они понимают уже, что это значит «Улетела птичка!..» А «У-а, у-а!..» значит: «Какая на тебе смешная шляпка!..»,

Давид усердно старался припомнить фейный язык... Он плотно прижимал к вискам кулачки и припоминал много фраз, которые я приведу дальше, если не забуду... Он слышал их в те дни, когда был дроздом, и я тщетно старался навести его на мысль, что он припоминает, в действительности, не фейный, а птичий язык. Он уверял меня, что все это слова, описывающие разные фейные игры и забавные приключения фей... Птицы же говорят только о

своих гнездах, и выбор слов у них очень ограниченный. Он отлично помнил, как птицы переходили с одной лужайки на другую, словно дамы из одного магазина в другой, и говорили: «Нет, я не люблю этого цвета...» и «Как вы думаете, годится это для подкладки?..»—и «А прочно ли будет?..»—«Какая ужасная обшивка...» и т. п.

Фей восхитительно танцуют, и потому-то дети первым делом начинают показывать взрослым знаками, чтобы они танцевали, и плачут, когда взрослые не исполняют их желания... Понятно, их не удовлетворяют людские танцы... Фей устраивают свои балы на открытом воздухе, и то место, где они танцуют, принято называть заколдованным кругом... Они так долго вальсируют, что от следов их ножек отмечается на траве круг, в котором мы по утрам находим иногда небольшие грибки... Это кресла, которые служанки фей не успели убрать вовремя. Эти кресла и круги на траве единственные следы фейных балов, и они постарались бы, конечно, удалить и эти следы, если бы не были такими страстными любительницами танцев—они часто так увлекаются, что едва успевают разбежаться, когда уже открывают ворота... Давид и я набрали раз на круг, совсем еще теплый от маленьких ножек фей...

Когда феи задумывают устроить бал, они ни перед чем не останавливаются. Вы обратили в

парке внимание на дощечки с надписями, указывающими, в какое время закроются ворота? Сторожа вывешивают дощечку, на которой сказано, что ворота закроются в семь часов... Но феям хочется открыть свой бал на полчаса раньше, и плутовки выдвигают другую дощечку—«Ворота закрываются в половине седьмого».

Если бы нам удалось застрять в парке в такую ночь, как умудрилась сделать знаменитая Мамми Меннеринг, мы бы увидели очаровательные вещи... Мы бы увидели сотни прелестных фей, спешащих на бал, замужних фей с обручальными кольцами на талиях, вместо поясов, эльфов в парадных мундирах, и факельщиков, несущих впереди светлячков, и большую ветку, на которой феи вышают свои серебрястые накладки и получают билетик с номером, а также цветы, стремящиеся на бал со всех концов Детской аллеи... Это желанные гости,—они приносят с собою дощечки, на которых сервируется ужин... И во главе этого импровизированного стола всегда сидит сама царица фей, королева Маб, за ее креслом стоит лорд-камергер с одуванчиком в руке, и когда королева спрашивает, который час, он изо всех сил дует на одуванчик...

Скатерть меняется смотря по времени года... В мае стол накрывается каштановым цветом...

Эльфы взбираются на деревья, стряхивают цвет с веток, а служанки машут своими юбочками, пока цвет не ложится ровным слоем, как заправская скатерть... У фей настоящие стаканы и настоящее вино, трех сортов:—терновник, барбарис и первинка... Вино разливают сама королева, но бутылки так тяжелы, что ей, конечно, помогают... На закуску подаются маленькие булочки с маслом, а на десерт крохотные пирожные, такие крохотные, что от них и крошечки никогда не остается... Феи сидят кругом на грибах, сидят очень чинно и покашливают в кулачки, но мало-по-малу становятся все развязней и суют пальчики в масло, которое выжимается из корней старых деревьев, а иные озорницы ползают по столу и лизжут язычками сахар и другие сласти.... Тогда королева деликатно делает служанкам знак, чтобы они убрали со стола и вытерли феям губы и подбородки, и затем все выстраиваются для танцев. Впереди всех идет королева, а за нею лорд-камергер несет два горшечка—в одном сок из левкоев, в другом сок из хвойных игл.

Левкойный сок подкрепляет танцоров, падающих с ног от изнеможения, а хвойный помогает от ушибов и шишек. Феи часто падают... Питер играет, все ускоряя и ускоряя темп, а они кружатся, кружатся, перебирают ножками быстрее, быстрее, пока не сваливаются на зем-

лю... Вы, конечно, догадываетесь, что Питер Пэн заменяет феям целый оркестр. Он сидит посреди круга, и феи даже представить себе не могут веселой пирушки без участия Питера Пэна... На пригласительных билетах, рассылаемых самыми феешенебельными феями, всегда красуются в уголке инициалы «П. П.»... Феи—очень чувствительные, благодарные создания, и, когда стали вывозить принцессу,—а вывозить феи начинают, когда им исполняется два года,—феи вызвались исполнить самое заветное желание Питера. Было это так... Королева велела ему стать на колени и сказала, что за его прекрасную игру она с радостью исполнит его заветное желание... Феи тогда обступили Питера, чтобы услышать, чего он попросит у королевь...

Питер долго думал и, наконец, сказал:

— Я бы хотел вернуться к своей маме... Это возможно?

Но эта просьба обидела их—они лишиться бы его музыки, если бы он вернулся к своей маме. Королева презрительно повела носиком и сказала:

— Подумаешь! Ничего лучшего придумать не мог...

— Но разве это такой пустяк—увидать вновь свою маму?—спросил он.

— Конечно,—ответила королева,—это вот

такая маленькая просьба,—она указала на кончик своего мизинца.—Проси больше!

— Например?—спросил он.

— Ну, проси хотя бы вот столько,—королева широко развела руками.

Питер Пэн подумал еще и сказал:

— Тогда, я попрошу о двух вещах...

Феям оставалось только согласиться, хотя его смелость и не очень понравилась им, и он заявил, что первым делом желал бы пойти к своей матери, но с правом вернуться вновь в Кенсингтонский парк, если ему покажется, что она не очень рада его возвращению... А вторую свою просьбу он оставлял про запас на будущее время.

Они стали его отговаривать и даже пробовали запугать его всякими затруднениями.

— Я могу дать тебе возможность долететь до ее дома,—сказала королева,—но дверей я открыть никак не могу...

— Окно, в которое я улечу, будет открыто,—уверенно ответил Питер.—Мама всегда оставляет окно открытым в надежде, что я опять вернусь...

— Откуда ты это знаешь?—с удивлением спросили феи. Но этого Питер объяснить не мог.

— Я знаю,—ответил он только.

Но так как он упорствовал в желании повидать свою мать, то им оставалось только исполнить обещание и оказать ему содействие. Летать они помогли ему таким образом: они все принялись щекотать его в плечи, и он скоро почувствовал приятный, подмывающий зуд, отделился от земли, стал подниматься выше, выше, и взвился над парком и крышами домов...

Ему было так приятно летать, что он полетел не прямо домой, а пронесся раньше над собором Св. Павла, над Хрустальным дворцом и Риджент-парком, и когда он спускался к окну своей мамы, то почти уже решил, что попросит у фей сделать его опять птичкой...

Окно, как он и ждал, было раскрыто настежь, и он влетел в комнату и увидел перед собой свою спящую маму... Питер спустился на ее кровать, присел в ее ногах и жадно уставился на нее. Она лежала, положив голову на руку, и углубление в подушке похоже было на гнездышко, выстланное ее темными вьющимися волосами. Он вспомнил тут, что она всегда распускала волосы на ночь—он было и забыл об этом. Так нежно белели кружева ее ночной рубашки!... И сердце его радовалось тому, что у него такая красивая мама.

Но лицо ее было печально, и он знал, отчего у нее такое печальное лицо. Она протянула

руку, словно хотела обнять кого-то, и он знал, к кому тянулась ее рука.

— О, мама,—проговорил про себя Питер,—если бы ты знала, кто сидит на твоей кровати, у твоих ног...

Он тихонько коснулся ее ступни, выступавшей под одеялом, и видел, что ей приятно это прикосновение... Он знал, что стоит ему только шепнуть: «мама»—и она проснется. Матери всегда просыпаются на зов своих детей. Она вскрикнула бы от радости и крепко сжала бы его в своих объятиях... Как это было бы хорошо! И каким счастьем это было бы для нее! Но Питер колебался. Он знал, что для матери это будет величайшим счастьем, о каком может только мечтать женщина. Сын! Какой гордость, и какое блаженство для женщины! Сын!.. Но Питер сидел на краю кровати и размышлял, и не решался окликнуть свою мать и сказать ей, что он опять вернулся к ней... И как ни грустно, но надо сказать правду—два чувства, два желания боролись в нем... Он с тоскою глядел на мать и с тоскою глядел в окно. Конечно, хорошо было бы опять стать ее мальчиком, сыном своей мамы, но с другой стороны, как хорошо было ему в Кенсингтонском парке. Он даже не был уверен в том, что ему приятно будет опять носить человеческую одежду... Он слетел с кровати, открыл ящик комода... Весь его гардероб еще хра-

нился здесь. Он смотрел на рубашечки, панталончики, чулочки и даже не мог припомнить, как их надо надевать... Чулки, например, что с ними надо делать? На руки надевать или на ноги? И он хотел было натянуть один чулок на левую руку, но тут, должно быть, скрипнул ящик. Мать его проснулась... И он услышал: «Питер»! — Это сказано было таким нежным сладким голосом, словно это было прекраснейшее в мире слово... Он притаился на полу, сидел, едва дыша, и удивлялся тому, что она почувствовала его близость. Если бы она еще раз промолвила «Питер»!—он бы не выдержал и крикнул бы «мама» и кинулся бы в ее объятия... Но она ничего больше не сказала, только тихо вздохнула несколько раз, и когда он опять взлетел на ее кровать, она уже спала... На щеках ее блеснули слезы...

Это взволновало Питера до глубины души, и знаете, что он сделал?

Он заиграл на своей дудочке, которую захватил с собой, прелестную колыбельную песенку... Одно слово, один звук ее голоса, которым она промолвила «Питер», навеяли ему эту песенку, и он играл ее до тех пор, пока на лице его матери не заиграла опять улыбка... Ему и самому понравилась эта песенка, и он очень доволен был своей игрой. Ему стоило большого усилия не разбудить мать, для того лишь, чтобы

услышать из ее уст похвалу: «О, Питер, как ты прелестно играешь!» — Но она спокойно и мирно спала, и он опять стал поглядывать на окно. Вы не думайте, однако, что он хотел улететь с тем, чтобы никогда больше не возвращаться. Он почти окончательно решил быть опять сыном своей мамы, но ему не хотелось ночью приводить в исполнение свое решение... И потом его томило еще и другое невысказанное желание. Ему не хотелось больше быть птичкой, но ему представлялась возможность получить еще какой-то дар у судьбы, а для этого он должен был вернуться к феям... Он знал также, что откладывать надолго исполнение второй просьбы не следует... И в то же время ему совестно было, что он улетел, не простившись даже с Соломоном-Вороном.

— Мне страшно хочется прокатиться еще раз в моей лодочке,—мечтательно прошептал он, обращаясь к своей спящей матери. Он убеждал ее, доказывал ей, как будто она слышала его и могла ему возражать.

— И так хочется рассказать птицам, как я прилетел к тебе,—шкрябчиво добавил он.

— Я обещал им вернуться обратно!—торжественно сказал он и сам поверил своим словам.

И, в конце концов, таки улетел, как вам известно... Два раза прилетал он опять на окно, ему страшно хотелось поцеловать мать, но он

боялся разбудить ее своим поцелуем, и, сыграв на дудочке мотив прощального поцелуя,—улетел в Кенсингтонский парк...

Прошло много ночей, и даже месяцев, пока он, наконец, решил исполнить свое второе желание... И отчего он так долго колебался и откладывал, я вам, право, сказать не могу... Единственное объяснение, пожалуй, то, что ему надо было сделать много прощальных визитов и проститься не только с множеством друзей, но и с множеством милых его сердцу уголков. Он отправлялся в последний раз на остров в своей лодочке, и опять, в последний раз, в честь его устраивались прощальные ужины, обеды, завтраки, и потом он даже не очень торопился—он был уверен, что его мама никогда не перестанет его ждать... С этим доводом старый Соломон не соглашался. Только птицы поддерживали Питера, и убеждали его отложить возвращение к матери... А кое-что повидавший на своем веку Соломон утверждал, что «никогда не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня», и что надо «ковать железо, пока горячо»... Но Питер беззаботно откладывал свой отъезд, а птицы наперерыв приглашали его к себе, веселились, пиروвали и отбивались от дела...

Но хотя Питер и не торопился расстаться с островом и парком, в душе, однако, он твердо

решил вернуться к своей матери... И лучшее тому доказательство — осторожность, какую он соблюдал в разговорах с феями... Им очень хотелось, чтобы он остался и продолжал играть на их балах, и они всякими хитростями старались подказать ему новое желание... Они говорили: «Как бы я хотела, чтобы твоя не была так влажна...» или же танцевали без передышки, надеясь, что он не выдержит и крикнет: «Довольно, остановитесь, я хочу, чтобы вы, наконец, перестали!...» — И тогда они закричали бы, что это и есть его второе желание...

Но он понимал все их уловки, и каждый раз, когда начинал — «Я хочу» — тотчас же умолкал.

Наконец, он твердо им заявил: «Я хочу вернуться навсегда к своей маме». — Им оставалось только пощекотать его в плечи и отпустить с Богом...

Он летел теперь очень быстро; ему приснилось, что мать его стонет и плачет... А он знал, что если мать его стонет и плачет, стало быть, ей очень больно, и знал, что как только она почувствует близость своего ненаглядного Питера, она опять просияет и улыбнется... О, он был уверен в этом! И ему так хотелось быть скорей в ее объятиях, что он, уже не останавливаясь по дороге, летел прямо к ее окну... Он не сомневался в том, что оно все еще раскрыто настежь.

Увы! — Окно оказалось закрытым, и к подо-

коннику приделана была железная решетка. И взглянув сквозь стекло, он увидел свою мать, но она мирно спала, обнимая рукою другого маленького мальчика...

Питер крикнул: «Мама! Мама!» — но она не слышала его. Он тишечно стучал своими маленькими ножками о железную ограду. А он мечтал быть теперь таким нежным, таким любящим сыном! Ах, Питер! Совершив большую ошибку, не надо медлить, когда представляется возможность исправить ее. Но Соломон был прав — эта возможность так редка, так редка!.. Мы прилетаем к заветному окну уже в глухой полночный час. Но окно закрыто — и никогда больше не откроется для нас...

XVII.

Маленький домик.

Кто не слышал про маленький домик в Кенсингтонском парке? Это единственный домик во всем мире, построенный феями для людей... Но никто этого домика никогда не видел, за исключением трех-четырех человеческих существ, и то лишь потому, что они спали в нем, а видеть маленький домик можно только, проведя в нем ночь, и даже не тогда, когда вы лежите в нем, вы видите его, а тогда только, когда просыпаетесь и выходите наружу...

Некоторое представление об этом домике могут, пожалуй, иметь многие, потому что ночью, после полуночи, виден иногда свет в окнах... Давид, например, отчетливо видел свет сквозь деревья, когда мы с ним возвращались однажды поздно из цирка, а Оливер Бейлей видел свет, возвращаясь из собора, где отец его служил утреню... Андже́ла Клэр (для этой девочки праздник, когда дантист рвет ей зуб, потому что тогда ее для утешения вводят в кондитерскую) даже много раз видела огни в Маленьком домике.

Очевидно, она видела огни, когда феи строили домик, потому что они строят его каждую ночь, и каждую ночь в другой части парка. Анджели казалось, что один огонек был больше других, но впрочем, она не была уверена в этом, потому что он вспыхивал то в одном, то в другом месте, и она не могла понять, один ли и тот же это огонек... Но то был один и тот же огонек,—а именно огонек Питера Пэна. Его замечали десятки и сотни детей. Высокая честь выпала на долю знаменитой Мамми Меннершиг. Для нее-то и построен был первый домик.

Мамми всегда была странная девочка, и странности ее обыкновенно начинали обнаруживаться с наступлением ночи. Ей было четыре года. Днем она казалась самой обыкновенной девочкой. Она сияла от радости, когда брат ее Тони, тол-

стый красивый шестилетний мальчуган, удостоивал ее внимания,—смотрела на него с восторженным почтением, тщетно старалась подражать ему в его мальчишеских замашках, и ей приятно было, когда он, не считаясь с тем, что она девочка, давал ей по-товарищески тумака... Но вместе с тем, когда она подбрасывала ракетой мяч, она ничуть не торопилась поймать его, а выставляла вперед свои ножки, чтобы все видели, какими на ней хорошенькие новые башмачки—потому что она все-таки была девочкой... Словом, днем это был самый обыкновенный ребенок...

Но едва спускались сумерки, самоуверенный Тони тотчас переходил с покровительственно-презрительного тона по отношению к Мамми на робкий... И в этом нет ничего удивительного, потому что с наступлением ночи лицо Мамми менялось до неузнаваемости. В глазах ее появлялось выражение гордой спокойной уверенности. Тони же, наоборот, овладевало беспокойство, растерянность, и он с заискивающим видом топтался подле Мамми, дарил ей любимейшие игрушки (на следующее утро он отнимал их обратно), и она с рассеянной улыбкой принимала их... Причина его угодливой кротости и ее таинственности заключалась в том, что оба предчувствовали близость минуты, когда их укладывали спать. И тогда Мамми становилась ужасной. Тони

каждый вечер просил ее не делать «этого» сегодня, и мама и няня-негрityнка грозили ей наказанием, если она опять будет «это» делать... Мамми лишь улыбалась своей загадочной, волнующей улыбкой... И как только они оставались в детской одни при свете ночника, она приподнималась на своей кровати и вскрикивала:

— У-у-у! Это что?

Тони умолял ее:

— Ничего, ничего нет... Не надо, не надо Мамми!

И зарывался головой под одеяло.

— Вот!.. вот!.. приближается!!—кричала она. —Тони, Тони, смотри, с рогами, уже у твоей кровати... Сейчас тебя забодает, ах! Ах, Тони!..

И не унималась до тех пор, пока он в одних кальсончиках не выскакивал с криком из кровати... Когда на его крик прибегали мама и няня, Мамми обыкновенно спокойно спала... Не притворялась, а действительно спала тихо и кротко, как ангелочек...

Но днем, когда они бывали в Кенсингтонском парке, первую скрипку всегда играл Тони. Из его слов не трудно было заключить, что он отменный храбрец. Мамми гордилась им чрезвычайно... И можете себе представить, в какое восторженное благоговение он поверг ее, когда однажды твердо и решительно заявил ей—(он

всегда высказывался очень твердо и решительно),—что намерен когда-нибудь остаться в парке после закрытия ворот...

— О, Тони!—воскликнула она с испугом и почтением,—но феи, ведь, рассердятся...

— Вероятно!—небрежно ответил Тони.

— Быть может,—продолжала она, дрожа от волнения,—Питер Пэн прокатит тебя в своей лодочке...

— Я потребую, чтобы он покатал меня, — ответил Тони.

Удивительно ли после этого, что Мамми гордилась своим братом?

Но, к сожалению, они разговаривали очень громко, и феи, собиравшие увядшие листья, из которых они ткали материи для летних занавесок, подслушали их разговор... С этого дня Тони стал для них предметом единодушных преследований. Когда он взбирался на изгородь, они раздвигали густые кусты, и он проваливался вниз головой. Они незримо наступали на часто развязывавшиеся шнурки его башмаков, он спотыкался и падал. Они натравливали на него уток, и утки топили его кораблики. Надо знать, что почти все несчастные случаи в парке происходят только с детьми, очутившимися в немилости у фей, и потому, разговаривая о феях, следует соблюдать величайшую осторожность...

Мамми по характеру своему очень любила точность и определенность, но Тони был другого склада, и когда она спросила его, в какой день он намерен остаться в парке после закрытия ворот, он ответил:

— Да как придется...

Он и сам не знал, когда осуществит свое намерение. Но однажды она настойчивее спросила:

— Быть может, сегодня останешься?

И он твердо ответил:

— Нет, нет, только не сегодня...

Из этого ответа она вывела заключение, что он будет выжидать благоприятного случая...

Наконец, аллея парка запорошила белым снегом. Крутлый пруд затянуло льдом. На коньках нельзя было еще кататься, и мальчики и девочки забавлялись пока тем, что бросали в пруд камушки и разбивали прозрачную, хрупкую корочку.

Тони и Мамми, придя в парк, тоже хотели первым делом направиться к пруду, но их чернокожая няня сказала, что надо прежде прогуляться по аллее. И говоря это, она взглянула на дощечку, указывавшую час закрытия парка. На дощечке написано было, что парк закроется в половине шестого. Бедная Айя! Она всегда смеялась, всегда показывала свои белые зубы, потому что в парке было всегда так много

белых детей, и это ее смешило. Но в этот день она не долго смеялась.

Когда они прошли по Детской аллее и опять проходили мимо дощечки, она к удивлению своему увидела, что парк закроется не в половине шестого, а в пять. Она ничего не знала о проделках, на которые часто пускались феи парка, и не поняла.

Тони и Мамми тотчас догадались, в чем дело: феи передвинули дощечки, потому что они затевали этой ночью бал. Айя только сказала детям, что теперь у них осталось времени дойти лишь до холма и обратно, и когда они послушно повернули к холму, она, конечно, и не подозревала, какие замыслы волнуют их в эти минуты... Вы догадываетесь, разумеется, что они придумали... Увидеть феиный бал! Тони понимал, что более благоприятного случая нечего было ждать. Мамми по лицу его угадала его намерение...

— Сегодня?—спросила она глазами.

Он глубоко вздохнул и кивнул головой. Мамми быстро всунула ручонку в его руку. Ее рука была горяча, как огонь, его—холодна, как лед. И вот что она сделала тогда,—она сняла с себя шарфик и отдала его брату.

— Бери,—прошептала она,—тебе, быть может, будет холодно...

Лицо ее пылало от возбуждения. Тони хмуро молчал.

Когда они дошли до вершины холма и поворачивались обратно, он шепнул ей:

— Боюсь, няня увидит, что я отстаю, и мне не удастся застрять в парке.

Мамми пришла в восторг. Он боялся только няни, ее смелый брат! И ни слова о тех неведомых ужасах, которые ждали его в парке...

— Тони, беги до ворот, я буду тебя догонять,—громко сказала она и добавила шепотом:

— Тогда ты сможешь спрятаться...

И они побежали.

Тони всегда довольно легко ее опережал, когда они бежали взапуски, но она и не подозревала, что он умеет бегать так быстро. И она подумала, что он напрягает все силы для того только, чтобы скорее ускользнуть от бдительной няни.

— Bravo! Bravo!—поощряла она его, блестя глазами, и вдруг—остолбенела от изумления. Вместо того, чтобы свернуть в сторону и спрятаться, ее герой выбежал из ворот прямо на улицу. Она даже заплакать не могла, так жгуче было охватившее ее чувство презрения... Ей казалось, что она потеряла в эту минуту все, что было ей мило и дорого на земле... И в порыве негодования против всех беглецов и трусов, она

бросилась к колодцу св. Слова и спряталась за ним, вместо Тони.

Когда Айя дошла до ворот и увидела, что Тони уже за оградой парка, она подумала, что Мамми в нескольких шагах впереди или позади его, и тоже вышла из ворот. Над парком спустились сумерки, сотни людей спешили к воротам, но Мамми не видела их. Она сидела, плотно зажав глаза, из которых капилась по щекам горячие слезы. Она открыла глазки, лишь почувствовав, как что-то холодное пробежало по ее ножкам, ручкам и вошло в ее сердце. То была тишина парка. Затем она услышала «дон», и опять «дон»... Это закрывались ворота.

И едва отзвучал последний «дон», Мамми отчетливо услышала чей-то голос, промолвивший:

— Ну, наконец-то!..

Эти слова прозвучали каким-то глухим деревянным звуком над самой головой Мамми. Она подняла глаза и увидела над собою вяз. Он устало потягивался и зевал.

Она чуть было не воскликнула: «Я и не знала, что вы умеете говорить»,—но в то же мгновение другой, на сей раз металлический голос, шедший как будто от ковшика у колодца, промолвил:

— Повидимому, сегодня холодно?

И вяз ответил:

— Нет, не очень... Долго стоял на одном месте, ноги онемели...

И он взмахнул одной, другой ветвью, как извозчик кнутом... Мамми изумленно смотрела, как и другие деревья взмахивали ветвями, словно разминая онемевшие руки. Она притаилась под большой мальвой, которая тоже зябко водила плечиками и, повидимому, совсем не замечала ее.

Мамми же нисколько не чувствовала холода. Она была в желтенькой шубке и в капоре, изпод которого видны были только ее личико и кудри. Вся ее фигурка была так плотно укутана и обмотана, что она походила скорей на шар, чем на девочку... Впрочем, она и без шубы и фуфаяк была порядочной толстушкой...

На Детской аллее царило большое оживление... Но от внимания Мамми не ускользнуло, однако, как магнолия и куст сирени перешагнули через изгородь, и быстро пошли по аллее. Они шагали неровно, вздрагивая и дергая плечиками, потому что оба опирались на костыли. Бузиновый куст перебрался, ковыляя, через дорожку и остановился поболтать с айвовыми деревьями. Эти тоже все опирались на костыли. Костылями для них служили просто палочки, которыми подпирают молодые деревца и кустики. Мамми видала их каждый день, но до этой ночи не

знала, что это, в сущности, костыли... а не палочки...

Она высунулась из своей засады и, посмотрев на аллею, увидела, наконец, первое живое существо из фейного царства. Это был маленький эльф, уличный мальчишка. Он бегал по аллее и потехи ради заставлял с'еживаться потягивавшиеся деревья. Делал он это так: пускал в стволы струю воды из шприца, и деревья тотчас смыкались, как зонты, осыпая ютившиеся под ними маленькие растения дождем снежинок.

— Ах ты злой, нехороший мальчишка! — с негодованием воскликнула Мамми: она знала, как это неприятно, когда на уши стекает вода с зонтика...

Негодный мальчишка убежал и уже не слышал ее негодующего окрика, но его слышала хризантема и так язвительно-вызывающе бросила ей: — Та-та-та! Это еще что такое? — что Мамми сочла недостойным прятаться дольше и вышла на аллею. Растительное царство опешило от изумления. В первое мгновение никто даже не нашелся, что сказать... Наконец, они пошептались меж собою, и барбарис заметил ей:

— Конечно, это нас не касается, но вы, вероятно, знаете, что вам здесь не место, и мы, с своей стороны, быть может, даже обязаны довести о вашем присутствии до сведения фей. Вы как полагаете?...

— Я полагаю, что вам совершенно незачем это делать,—ответила Мамми, и ответ ее так поразил их, что они, перекрикивая друг друга, заявили ей, что вовсе не намерены вступать с нею в какие-либо препирательства.

— Поверьте мне,—сказала Мамми,—если бы я задумала дурное, я не стала бы убеждать вас укрывать меня.

И после этих слов, у них, понятно, пропало всякое желание доносить феям о ее присутствии. Сдвигая плечами: «Увы!» другие проговорили: «Что же, такова жизнь!»—потому что растения, как известно, по природе своей, весьма склонны к сарказму. Ей, однако, жалко стало тех, у кого не было костылей, и она просто-душно предложила им:

— Прежде чем отправиться на фейный бал, я с удовольствием погуляю немного с каждым из вас... Можете опираться на меня... Пожалуйста...

Они захлопали в ладоши, и она провела их всех взад и вперед по Детской аллее, каждого особом, причем очень слабых нежно поддерживала за талию; если кто дрыгал ногой или смешно подгибал ее, Мамми осторожно и деликатно выравнивала его походку, а с иностранцами была так же внимательна и учтивая, как с англичанами, хотя ни слова не понимала из их речей.

Все они вели себя безупречно. Некоторые жаловались только, что она с другими гуляла дольше, чем с ними, но Мамми была слишком хорошо воспитана, чтобы обижаться на такие пустяки. Она, наконец, устала от прогулки, и начала беспокоиться, что опоздает на бал фей, но страху она ни малейшего не чувствовала, ибо все это происходило ночью, а в темноте, как вам уже известно, она делалась совсем странной.

Деревья и кусты неохотно отпускали ее от себя.

— Феи, пожалуй, еще станут обижать вас,—предупреждали они ее.—Кто знает, быть может, даже исколотят до смерти, или заставят нянчить их детей, или превратят вас во что-либо скучное, в какой-нибудь вечно-зеленый дубок.—И, говоря это, они смотрели с притворной жалостью на дуб, способность которого сохранять листву в течение зимнего времени всегда являлась предметом единодушной зависти.

— Скажите на милость!—извительно промолвил дуб.—Смею вас уверить, куда приятнее стоять на холоду застегнутым до воротника, чем шеголять напихом и стучать зубами...

Все они тогда обиделись, хотя сами же вызвали его на такой резкий отпор, и наперерыв стали рисовать Мамми мрачную картину всяких опасностей, ждавших ее по дороге на фейный бал...

Багряный орешник сообщил Мамми, что при дворе сейчас очень невесело, и причина подавленного настроения—сердечные муки герцога Гиацинта Рождественского... Он был родом с Востока и страдал тяжким сердечным недугом: он никого не любил. Он ездил по всему миру, знакомился с самыми очаровательными феями, но полюбить никого не мог. Королева Маб—королева Кенсингтонского парка—уверена была в том, что ее дочери очаруют знатного гостя. Но увы! Сердце его,—говорил доктор,—оставалось холодным. Врач этот, очень неприятный господин, находившийся при герцоге неотлучно, каждый раз, когда герцогу представляли новую фею, внимательно выслушивал его сердце, качал своей головой и бормотал:

— Холодное, совсем холодное.

Королева Маб, понятно, рассердилась и повелела всем своим придворным быть в печали и слезах целых девять минут. Амуров же выругала и приказала им носить дурацкие колпаки до тех пор, пока они не сумеют согреть любовью холодное сердце герцога.

— О, мне бы так хотелось видеть миленьких Амуров в дурацких колпачках!—воскликнула Мамми, решив про себя, что и виду не покажет Амурам, как ее забавляют их дурацкие колпаки. Она знала, что они самолюбивы и обижаются, когда над ними подтрунивают.

Место, где феи устраивают бал, найти не трудно, потому что от этого места, обыкновенно, протянуты ленты к самым многолюдным частям парка. Приглашенные шествуют на бал по лентам, дабы не промочить балых башмачков. В эту ночь ленты были красные, и на фоне белого снега это было восхитительно.

Мамми долго шла вдоль одной такой ленты, но ни одна фея навстречу ей не попадалась. Наконец, она увидела целую кавалькаду. Ей казалось, однако, что они уже возвращаются с бала. Она едва успела спрятаться—опустилась на колени и вытянула вперед обе ручки, так что в темноте легко могла сойти за стул. Кавалькада состояла из шести всадников, ехавших впереди, и шести сзади. Между этими двумя группами шла красивая фея в очень нарядном платье с длинным шлейфом, который поддерживали два пажа. А на шлейфе возлежала, как на кушетке, очаровательная юная фея. Знатные феи всегда выезжают на шлейфах и всегда под конвоем двенадцати эльфов. На ней было восхитительное платье из золотых струй, но больше всего пленяла взор ее нежно-голубая шейка в алмазном ожерелье. Знатные феи нарочно прокалывают кожу, чтобы капли голубой крови, вытекающие тогда из их вен, окрасили и придали такой нежный, благородный оттенок их коже...

Мамми обратила также внимание на то, что

все они были очень возбуждены и обижено-вызывающе задирали носики, почему она могла заключить, что эту молоденькую фею, очевидно, уже представляли приезжему герцогу, и доктор, выслушав его сердце, вероятно сказал:—Холодное, совершенно холодное...

Она пошла дальше, вдоль той же ленты, и пришла вскоре к месту, где лента тянулась мостиком над высохшей лужей. В это самое мгновение маленькая фея, шедшая по мосту, свалилась вниз и тщетно пыталась вскарабкаться обратно. Мамми поспешила к ней на помощь. Фея было испугалась ее, но через минуту уже весело болтала, и сообщила ей, что ее зовут Смуглянка, и что она хотя всего только бедная уличная певица, однако, вот собралась на бал... Она тоже хотела показаться герцогу.

— Правда,—сказала она,—меня можно скорее назвать дурнушкой...

Мамми смутилась. Это милое простодушное существо в сравнении с другими феями и впрямь была дурнушкой. И она не знала, что ей сказать...

— Я вижу, вы не очень верите в мой успех,—дрожащим голосом проговорила Смуглянка.

— Нет, отчего же,—вежливо ответила Мамми,—у вас, правда, лицо... несколько... ну, несколько простое, но...

Бедная Мамми, она искала слов и не находила их,

К счастью, она вспомнила, что отец ее рассказывал однажды об одном базаре. Он пошел на великосветский базар, где продавщицами были красивейшие дамы всего Лондона. А когда вернулся домой, он с нежностью посмотрел на мать Мамми, которая далеко не была красавицей, и сказал:

— Как приятно видеть, наконец, перед собою простое, милое лицо!

Мамми повторила Смуглянке слова отца, и маленькая фея почерпала в них отвагу и бодрость. Она и не сомневалась больше, что герцог именно на ней остановит свой выбор. И она быстро побежала по ленте, убеждая Мамми не следовать за нею, так как королева Маб может ее обидеть... Но любопытство, заглушавшее в Мамми чувство страха гнало ее вперед и вскоре она увидела недалеко от семи испанских каштанов ярко-освещенный круг...

Она незаметно пробралась совсем близко и притаилась за деревом... Свет, ослепивший ее, состоял из мириадов светлячков, которые плотно прилипли друг к другу и повисли над кругом, словно балдахин. Тысячи существ смотрели со всех сторон на ослепительный круг, и все казались невзрачными и жалкими в сравнении с феями, порхавшими под алмазным навесом.

Мамми и мысли не допускала, чтобы герцог Гиацинт мог не влюбиться хотя бы в одно из

этих восхитительных созданий. Но, увы, сердце его хмурого высочества оставалось холодным, как лед. И Мамми скоро поняла это по смущенным взглядам королевы и придворных дам—хотя они и делали вид, что его равнодушные их насколько не трогают,—по слезам, выступавшим на глазах фей после представления герцогу, и по унылому выражению лица самого высокого гостя.

Мамми видела также, как важный доктор прижимал к груди герцога плешивую голову и взвизгивал, как поугай:

— Холодное, совершенно холодное.

Но больше всего ей было жаль Амуров, стоявших в сторонке, в своих дурацких колпаках... Каждый раз, когда врач выкрикивал: «Холодное, совершенно холодное»,—бедняжки низко опускали свои повинные головы...

Мамми была разочарована отсутствием Питера Пэна. А он, к несчастью, не попал к самому началу бала, потому что лодочка его попала в узкий проход между льдин, пльзавших по озеру, и ему с величайшим трудом и с большим опозданием удалось добраться до парка в эту ночь.

Фей же едва замечали его отсутствие. Они были так удручены, что им стало не до танцев. Они забывали все па, когда их учтетала какая-либо печаль, но тотчас опять вспоминали их, когда приходили в хорошее настроение. Давид уверяет меня, что феи никогда не говорят: «Нам

очень весело»... Они говорят: «Нам хочется танцевать»...

Но в этот вечер у них был совсем не плясовой вид... Внезапно круг огласился дружным хохотом. Причиной его было появление Смуглянки и ее горячие наивные уверения, что она имеет такое же право, как и другие феи, быть представленной герцогу.

Мамми возбужденно подалась вперед. Ей страшно хотелось видеть, что будет теперь с ее новой приятельницей, хотя она не верила насколько в успех ее затей.

Ее подвели, однако, к герцогу. Доктор рассеянно поднес палец к его сердцу,—приличия ради, чтобы не обнажать часто грудь его высочества, в его алмазной манишке сделана была поднимавшаяся и опускавшаяся заслонка,—и начал было, как автомат, свое обычное: «Холодное, соверш...»—И вдруг осекся и замолк.

— Это что значит?—вскрикнул он, и сперва встряхнул сердце, как часы, потом приник к нему ухом.

— Господи помилуй!—снова воскликнул доктор. Возбуждение фей дошло до крайнего напряжения; иные из них даже лишились чувств.

Все гости, застав дыхание, смотрели на герцога. А он стоял, бледный, растерянный и с таким видом, словно намеревался куда-то убежать.

— О, Боже, Боже!—раздался шопот доктора.

Сердце герцога, очевидно, пылало, потому что доктор быстро отдернул свои пальцы, подул на них и сунул их в рот.

Затем он отвесил герцогу низкий поклон, и среди всеобщего изумления раздался его громкий, торжественный голос:

— Ваше высочество, имею честь доложить вашему высочеству, что ваше высочество влюблены.

Впечатление, произведенное этими словами, описать совершенно невозможно.

Смуглянка протянула герцогу руки, и герцог упал в ее объятия. Королева упала в объятия лорда-камергера, а все придворные дамы в объятия своих кавалеров... По этикету, придворные дамы должны во всем подражать своей королеве. В одну минуту состоялось около пятидесяти свадеб, потому что у фей обняться, это значит повенчаться. Само собою разумеется, что среди приглашенных оказался и священник, скрепивший все союзы своим благословением.

Какое тогда поднялось веселье и ликование! Загудели трубы. Взошла луна, и тысячи пар, окунувшись в ее серебряные лучи, самозабвенно закружились на волшебной лужайке... Амуры сорвали с себя дурацкие колпаки, взметнули их высоко в воздух и были очаровательны в своей грациозной шаловливости...

Но тут появилась Мамми и испортила всю му-

зыку. Она сделала это без злого умысла. Она так рада была счастью, выпавшему на долю ее приятельницы, что невольно шагнула вперед и крикнула с восторгом:

— О, Смуглянка, какая ты прелесть!..

Все мгновенно замолкло. Танцующие остановились, как вкопанные, огни погасли... И Мамми почувствовала, что ей грозит какая-то опасность. Она теперь только сообразила, что находится одна в таком месте, где ни одно человеческое существо не должно быть между закрытием и открытием ворот. Она слышала глухой недовольный ропот. Видела тысячи мечей, сверкавших во мгле, и, дико вскрикнув, убежала.

Надо было видеть, как она удира! От ужаса у нее глаза выкатились из орбит. Да! Она падала, вскакивала и опять бежала. Страх, овладевший ею, был так велик, что она забыла о том, где находится. Она сознавала лишь, что должна нестись, нестись без конца, и когда она свалилась с ног в Фиговой аллее и стала засыпать, ей все еще казалось, что она бежит... Снежинки падали на ее лицо—ей казалось, что это мама целует ее на ночь. Снежный покров представлялся ей ее белым теплым одеяльцем, и она пыталась укрыться с головой. Она слышала во сне голоса, и ей казалось, что это мать привела в детскую отца полюбоваться, как спит их любимица, Мамми. Но это были голоса фей.

С удовольствием отмечаю, что гнев их скоро остыл, и у них пропало всякое желание причинить ей какую-либо неприятность. Они, было, двинулись за нею с криком:

— Убить ее!

— Превратить ее в какую-нибудь гадкую вещь!

Но тотчас же зашпорили, кому стать во главе погони, а герцогиня Смуглянка тем временем бросилась к ногам Королевы и попросила ее исполнить ее заветное желание...

Каждая невеста-фея имеет право на особую королевскую милость, и Смуглянка попросила королеву Маб о даровании жизни Мамми.

— Все, что угодно, только не это!—сурово ответила Королева.

— Все, что угодно, только не это!—хором повторили за нею феи.

Но когда они все выслушали, как Мамми выручила Смуглянку из беды, и помогла ей попасть на этот бал, они трижды крикнули «ура!»—и двинулись стройной процессией благодарить Мамми. Впереди шел двор, под балдахином из светлячков. Они легко разыскали Мамми по следам ее ножек в снегу.

Но чем благодарить ее? Она лежала глубоко в снегу, и как разбудить ее они не знали. Наконец, молодой новобрачный, герцог Гиацинт, выступил вперед и прочитал длинный приветствен-

ный адрес, из которого Мамми не слышала ни одного слова... Феи смели с нее снег, но ее тотчас опять засыпало, и они видели, что ей грозит опасность замерзнуть...

— Надо завернуть ее во что-нибудь теплое,—предложил доктор. Но единственная вещь, представлявшаяся феям теплее прочих, была снежинка.

— Снежинка может растаять,—резонно заметила Королева, и предложение доктора было отклонено.

Феи сделали, было, геройское усилие и попытались перенести Мамми в какое-нибудь укрытое место, но, хотя их было очень много, они не могли сдвинуть ее с места. Толстушка Мамми оказалась им не по силам. Феи горько плакали и сморкались в носовые платочки, как вдруг Амуров осенила счастливая мысль.

— Постройте над нею домик!—воскликнули они.

И все единодушно согласились, что это вернейший способ спасти девочку. Через мгновение сотни эльфов-пильщиков уже мелькали среди деревьев, архитекторы толпились подле Мамми и снимали с нее мерку, у ног ее выросла гряда кирпичей, семьдесят пять каменщиков возили камни для фундамента... Постройкой руководила сама Королева, она же назначала надсмотрщиков... С быстротою молнии выросли леса, кру-

гом застучали молоты, зашуршали рубанки, закрипели токарные станки, и скоро уже готова была крыша, и стекольщики вставили окна в рамы...

Домик сделан был как раз по росту Мамми и выглядел очаровательно. Мамми лежала, вытянув вперед одну ручку, и это лишь привело фей в недоумение, так как мешало выполнению плана постройки. Но они и тут нашли выход из затруднения—обнесли протянутую ручку Мамми верандой. Окна были такого размера, как обыкновенная книжка с картинками, только дверь была несколько мала по росту Мамми, и феи решили, что ей, пожалуй, удобнее будет вылезть наружу через крышу... Феи захопали в ладоши от радости, когда достроили домик. Они не могли им налюбоваться и не решались разойтись по домам... Они вновь и вновь приколачивали что-то, прилаживали, расписывали, когда им казалось, что ничего больше делать не осталось, придумывали еще что-то, и опять хлопотали и суетились... Две феи, например, взобрались по лесенке на крышу и поставили над нею трубу.

— Никак, теперь уже все готово,—со вздохом сожаления промолвила одна из них.

Но нет, все еще было готово! На крышу избежали по лесенке две других феи и воткнули в трубу немного дыму.

— Ну, теперь, кажется, уже все готово,—не-
решительно промолвили они.

— Вовсе нет!—воскликнул светлячок.—Если она проснется ночью и не увидит ночника, она испугается. Я останусь здесь, вместо ночника.

— Подождите еще минутку,—сказал торговец посудой,—я принесу для вас чашечку.

Увы, теперь уже все, все было готово.

О, нет, еще не все!

— Господи,—воскликнул владелец медно-
плавильной мастерской.—Дверь-то, дверь без
ручки...

И он приделал к двери медную ручку.

Слесарь принес еще железную скобку для
чистки обуви, а одна старая фея принесла поло-
вик и положила его перед дверью. Плотники при-
катили еще бочку для дождевой воды, а худож-
ники предлагали расписать домик фресками.

— Кончено, наконец!

— Какое там кончено?—недовольно заметил
паяльщик,—ведь, в домике нет пока ни тепла, ни
холода.

И он наполнил его теплом и холодом. Затем
явился целый отряд садовников с тачками, за-
ступами, семенами, луковичками, с маленькими
тепличками, и по правую руку от веранды раз-
вели цветник, а по левую фруктовый сад, стены
дома увили розами и ломоносом, а через несколь-

ко минут деревья и клумбы уже стояли в полном цвету...

О, как теперь красив был маленький домик! В конце концов, феям, действительно, ничего больше не оставалось, как вернуться к прерванным танцам. Прощаясь с домиком, феи посылали ему воздушные поцелуи, и последнюю прощалась с ним Смуглянка.

Она задержалась немного дольше, чтобы вместе с поцелуем послать Мамми еще хороший сон сквозь отверстие каминной трубы.

И всю ночь восхитительный домик стоял над Мамми и охранял ее от холода, а она даже этого не подозревала. Она спала до тех пор, пока кончился ее сон, и проснулась очень довольная, лишь только утро вылупилось из своего яйца. Через минуту она уже готова была уснуть снова.

— Тони!—позвала она сонным голосом. Она воображала, что она в детской. Но когда ответа не последовало, она приподнялась, причем голова ее стукнулась о крышу, раскрывшуюся над нею, как коробка. И к своему неописуемому изумлению, она увидела перед собою засыпанный снегом Кенсингтонский парк. Но ей не верилось еще, что все это происходит с нею наяву, и она ушибнула себя в одну и другую щечку. Тогда только она убедилась, что это действительно, и вспомнила все необычайные события, какие пережила с той минуты,

как закрылись ворота, и вплоть до того мгновения, когда она бросилась бежать от рассердившихся на нее фей... Но как она попала в эту странную кроватку? Она вышла из-под крыши прямо в парк и увидела прелестный домик, в котором провела ночь. Домик привел ее в такое восхищение, что она ни о чем другом уже думать не могла.

— Прелесть! Какая прелесть! Какой восторг!—кричала она.

Голос ли человеческий испугал домик, или потому, что дело его было сделано, но не успела Мамми договорить своих восторганных слов, как она стала замечать, что он как будто все делается меньше. Он так медленно уменьшался, что она даже не была уверена в том, что он уменьшается, хотя ей и ясно было, что теперь она никак уже не могла бы уместиться в нем. Он был все такой же хорошенький, как и прежде, но становился все более крошечным, деревья сада уходили в землю, цветы бледнели, а снег стался гуще, плотнее и окутывал белой пеленою и домик и сад. Домик казался маленьким, как собачья конура, или как игрушечный Ноев ковчег, но дымок все еще вился над ним, сверкала медная ручка, нежно светлели розы на кленах, и все было по-своему восхитительно. Светлячок тоже тускнел, но все еще горел.

— Миленький, хороший мой светлячок, не

угасай!—взмолилась Мамми и опустила на колени. Домик теперь уже похож был на тоненькую ниточку, и в этом миниатюрном, едва уловимом для взгляда виде, все еще был воспитителен...

Но когда Мамми протянула с мольбою руки, со всех сторон посыпались хлопья снега, и через мгновение от домика не осталось и следа...

Мамми капризно топнула ножкой и поднесла уже кулачки к глазам, когда услышала вдруг ласковый голос:

— Не надо плакать, красивенький человечек... не надо плакать...

Она быстро обернулась и увидела перед собой голого мальчика, смотревшего на нее с жадным любопытством. Она тотчас догадалась, что это—Питер Пэн.

XVIII.

Козлик Питера Пэна.

Мамми юробела, но Питер Пэн не знал, что такое робость.

— Надеюсь, вы хорошо спали? — вежливо осведомился он.

— Благодарю вас,—ответила она,—мне было очень удобно и тепло... Но вы... вам,—она смущенно отвела глаза от его голенькой фигурки,—вам не холодно?..

Питер Пэн давно уже забыл слово «холодно»—и уклончиво ответил:

— Нет, не думаю... Впрочем, может быть, я и ошибаюсь... Я плохо разбираюсь в таких вещах... Я, видите ли, не настоящий мальчик... Соломон-Ворон говорит, что я «Середка-на-половину»...

— Вот как вы называется,—задумчиво проговорила Мамми.

— Но это не мое имя,—объяснил он.—Мое имя—Питер Пэн.

— Я знаю,—ответила Мамми.—Кто же этого не знает?

Можете себе представить, как приятно было Питеру услышать, что он пользуется такой широкой известностью за пределами парка! Он попросил Мамми рассказать ему все, что о нем знают и говорят. Она исполнила его просьбу. Они сидели на сваленном бурей дереве. Питер смахнул со ствола снег для Мамми, но сам сидел на снегу.

— Прижмитесь ко мне плотнее, — сказала она.

— Как это делается?—спросил он, и она показала ему, как это делается. Они долго беседовали, и Питер Пэн убедился, что люди многое знают о нем, но далеко не все. Не знали они, между прочим, о том, что он возвращался к своей матери и нашел окно закрытым, но этого

он не коснулся в разговоре с Мамми... Рана была еще слишком свежа в его сердце.

— А они знают, что я играю в разные игры, как настоящие мальчики?—гордо спросил он.— Мамми, прошу вас, непременно расскажите им об этом.

Но когда она узнала, как он играет, и как пускает обруч, словно кораблик, на Круглый пруд, она, разумеется, пришла в ужас.

— Все ваши игры ничего не стоят,—сказала она, глядя на него своими большими глазами,— и вы очень ошибаетесь,—мальчики вовсе не так играют, как вы...

Бедный Питер вскрикнул, и заплакал так, как не плакал уже давным давно... Мамми очень расстроилась и протянула ему свой носовой платочек, но он не понимал, что с ним надо делать, и она научила его: то-есть сама вытерла свои глаза, затем дала ему опять платок и сказала:

— Ну, а теперь сделайте и вы то же самое... Но он, вместо того, чтобы вытереть свои глаза, вытер ей глаза—так он понял ее слова...

Сердце ее разрывалось от жалости к нему.

— Если хотите, я вас поцелую,—сказала она, но он давно уже забыл, что такое поцелуй, хотя и знал когда-то, и протянул руку, полагая, что она хочет ему дать что-то...

Она была поражена его неведением самых простых вещей, но чувствовала, что объяснить ему поцелуй ей будет не то что стыдно, а как будто неловко... Она дала ему маленький наперсток, случайно очутившийся в ее кармане, и сказала ему, что это и есть поцелуй. Бедный мальчик! Он поверил ей, и поныне еще носит наперсток на своем пальчике, безо всякой нужды, конечно...

Питер казался совсем маленьким на вид, но с тех пор, как он видел свою мать, прошло уже много лет. Ребенок же, на которого мать его променяла, был уже в это время взрослый мужчина с бакенбардами. Но вы не думайте, однако, что Питер Пэн внушал к себе только сожаление... Мамми очень скоро поняла, что Питер Пэн может вызывать скорее чувства восхищения, чем сострадания... Глаза ее сверкали восторгом, когда он рассказывал ей о своих приключениях... Больше всего пленило ее описание путешествия с острова в Кенсингтонский парк в дровяном гнезде.

— Как интересно!—воскликнула Мамми, но этого слова Питер тоже не понял и грустно поник головою... Он вообразил, что Мамми подтрунивает над ним.

— Тони, пожалуй, на это не отважился бы?—робко спросил он.

— Никогда,—убежденно ответила она.—Он бы побоялся!

— А, что это значит—побоялся?—завистливо спросил Питер Пэн. Он подумал, что это какая-то похвала.—Научите меня, Мамми, как надо бояться,—сказал он.

— Я думаю, этому вас никто не научит,—с обожанием ответила Мамми, и Питер понял, что она считает его слишком глупым для того, чтобы научиться таким вещам.

— О, как бы я хотел быть таким смельчаком, как Тони!—добавил он со вздохом.

Она даже рассердилась на него при этих словах.

— Да вы в тысячу раз смелее Тони,—сказала она.—Я не знаю другого такого смельчака, как вы.

Он едва верил своим ушам, но когда поверил, завизжал от радости.

— И если вам очень хочется подарить мне поцелуй,—добавила она,—поцелуйте, пожалуйста, я ничего против этого не имею...

Питер Пэн нерешительно вертел пальцами наперсток. Он подумал, что она просит вернуть его ей обратно.

Тогда Мамми быстро проговорила:

— Я говорю не о поцелуе, а о наперстке...

— Но что это значит?—спросил Питер.

— Это значит вот что,—ответила она и поцеловала его.

— Мне тоже очень хочется дать вам наперсток,—серьезно сказал Питер и поцеловал ее. Он дал ей не один, а много наперстков—он был уверен, что осыпает ее не поцелуями, а наперстками... И, наконец, его осенила фосхитительная мысль.

— Мамми,—сказал он,—выходите за меня замуж!

И, как ни странно, мысль эта одновременно осенила и Мамми.

— Хорошо, — ответила она,—я согласна, но хватит ли в лодочке места на двоих?

— Если вы прижметесь ко мне, то хватит,—быстро ответил он.

— А птицы не рассердятся?

Он стал уверять ее, что птицы скоро полюбят ее... Впрочем, зимою на острове было очень мало птиц.

— Но они наверно будут приставать к вам, чтобы вы поделились с ними своим платьем,—счел он долгом предупредить ее.

Это ей не понравилось.

— Они очень заботятся о своих гнездах,—сказал он, чтобы оправдать птиц,—и вот такие мягкие вещи,—он провел рукой по ее шубке,—могут, конечно, вызвать в них зависть.

— Шубки моей я им не отдам,—резко проговорила Мамми.

— И не надо,—сказал он, все еще водя рукой по мягкой ткани,—и не надо! Ах, Мамми,—горячо воскликнул он вдруг,—если бы вы знали, как я вас люблю... Я люблю вас, мое маленькое гнездышко...

Это сравнение, однако, не пришлось ей по вкусу.

— Мне кажется, вы теперь уже разговариваете не как мальчик, а как птица,—сказала она, откинувшись назад, и он, действительно, в эту минуту скорее похож был на птицу, чем на мальчика.

— Да, в конце концов, вы все-таки только «Середка-на-половину», —добавила она, но это его так огорчило, что она тотчас поправилась:

— Это, верно, очень приятно—быть «Середкой-на-половину»...

— Поедем со мной, Мамми, и вы будете «Середкой-на-половину»,—стал он ее убеждать. И они пошли оба к пристани, где стояла лодочка. Они торопились—скоро должны уже были открыть ворота.

— И несколько вы не похожи на гнездышко,—шепнул ей Питер, чтобы польстить ей.

— А я бы очень хотела походить на маленькое гнездышко,—возразила ему Мамми в силу свойственной всем женщинам страсти к

противоречию.—И знаете, Питер, шубки моей я птицам не отдам, но пускай они вьют в ней гнезда... Я им мешать не буду... Представьте себе только гнездышко с маленькими пестрыми яичками на моем воротнике... О, Питер, как это будет мило...

Но когда они подходили уже к озеру Серпантин, она вздрогнула и сказала:

— А к маме я буду приезжать, когда захочу, буду часто, часто ездить к ней... Я, ведь, не навсегда расстанусь с нею?..

— Конечно, нет,—отвечал Питер. В душе он знал, что эта поездка на остров означает вечную разлуку. Но ему страстно хотелось удержаться при себе Мамми. Он безумно полюбил ее и чувствовал, что жить без нее не сможет.

«Она забудет свою мать и будет счастлива со мной»,—говорил он себе и торопил Мамми, и по дороге осыпал ее лицо наперстками.

Она увидела лодочку, пришла от нее в восторг, но мысль о маме не покидала ее.

— Знаете, Питер, я не поеду, пока вы не дадите мне обещания, что я смогу ездить к моей маме, когда мне вздумается... Скажите «да».

Он сказал — «да»,—и опустил голову. Он не мог смотреть ей в глаза.

— Вы уверены, что ваша мать будет вам рада?—хмуро спросил он.

— Какой странный вопрос,—удивилась Мамми,

и лицо ее вспыхнуло.—Как же моя мама может быть не рада мне?

— Вы уверены, что она пустит вас обратно в дом?—сухо спросил он.

— Дверь всегда будет открыта, — ответила Мамми,—и мама всегда будет меня ждать...

— Если вы так уверены,—не без горечи сказал Питер,—то сядем в лодку и поедем.

— Отчего же вы не смотрите мне прямо в глаза?—спросила Мамми и схватила его за руку.

Питер, не глядя на нее, хотел уже было оттолкнуть лодочку от берега, но вдруг, глубоко вздрогнув, выпрыгнул из лодки и с отчаянием опустился на снег.

Мамми подошла к нему.

— Что это значит, милый?—спросила она с удивлением.

— О, Мамми,—воскликнул он,—это нечестно с моей стороны увозить вас на остров, если вы рассчитываете возвращаться обратно... Вы не знаете матерей так, как я их знаю...

И он рассказал ей скорбную повесть своего возвращения к матери, а она слушала и всхлипывала.

— Но моя мать,—начала она,—моя мать...

— Она не лучше других,—сказал Питер.— Поверьте мне, они все одинаковы... Быть может, она даже уже ищет себе другую девочку...

— Это невозможно,—взволнованно заговорила Мамми,—когда вы улетели из дому, у вашей мамы не было другого ребенка... Но у моей мамы есть Тони, и когда у женщины есть хотя бы один ребенок, ей ничего больше не надо...

На это Питер горько ответил ей:

— Посмотрели бы вы, какие письма Соломон-Ворон получает от матерей, у которых по пяти-шести ребят...

В это мгновение они услышали оба пронзительный скрип: во всех концах парка уже открывали ворота, и Питер быстро вскочил в свою лодочку. Он знал, что Мамми не поедет с ним, и всеми силами старался владеть собою и не плакать. Но Мамми рыдала навзрыд.

— А если я опоздаю,—говорила она с отчаянием,—о, Питер, если у нее есть уже другая девочка...

Он опять выскочил из лодки на берег и крепко прижал ее к себе:

— Я вернусь сюда сегодня ночью и буду искать вас,—сказал он.—Но еще есть время. Если вы побежите во весь дух домой, то на верное не опоздаете.

Он прижался последним наперстком к ее хошеньким губкам и горестно закрыл глаза руками, чтобы не видеть, как она будет убегать.

— Милый Питер!—крикнула она.

— Милая Мамми!—крикнул несчастный мальчик.

Она упала в его объятия, она знала уже, что это равносильно обряду венчания, и убежала. Она летела к воротам, как на крыльях, не останавливаясь и задыхаясь... Нужно ли говорить, что едва пробило полночь, Питер был уже в парке, но Мамми он нигде не нашел и понял, что она не опоздала... Он долго еще надеялся, что в какую-нибудь ночь Мамми опять придет к нему... Ему казалось часто, когда он подвезжал к парку, что Мамми ждет его на берегу... Но Мамми не возвращалась больше ночью в парк. Ей бы и хотелось этого, но она боялась, что если увидит опять своего милого «Середку-на-половинку»—она заболтается с ним и опоздает домой, и, кроме того, няня теперь уже не сводила с нее глаз. Но она часто и с нежностью вспоминала его, вязала для него шерстяной колпачок на чайник, а за несколько дней до Пасхи стала придумывать, какой бы подарок сделать. Но тут мама пришла ей на помощь.

— По-моему,—сказала она, подумав хорошенько,—лучше всего подарить ему козлика...

— Да... да... он бы ездил на нем верхом и играл на своей дудочке,—подхватила Мамми.

— Конечно,—поддержала ее мама.—Вот и подари ему козлика, которым ты пугаешь Тони по ночам...

— Но, ведь, это не настоящий козлик,—возразила Мамми.

— Тони думает, что это настоящий,—сказала мама.

— Мне он тоже иногда кажется совсем настоящим,—созналась Мамми.—Но как я могу подарить его Питеру?

Мама знала, как это сделать.

На следующий день она повела Мамми и Тони,—он был, в сущности, очень милый мальчик, хотя не чета, конечно, Питеру Пэну,—в парк... Мамми вышла на середину фейного круга, а мама—(это была очень неглупая особа) начала:

«Сегодня надо нам решить,
Что Питер Пэну подарить?»

На что Мамми поспешила ответить:

«Я подарю ему козла,
С собой его я принесла».

Она сделала вид, что вытряхивает козла из своего кармана.

Тони тогда подхватил:

«Теперь скажи ему—прощай
И больше Тони не пугай!»

И Мамми обещала торжественно и грустно:

«Пугать не буду никого,
Козла забуду моего!»...

Она оставила в надежном месте письмо для Питера, в котором сообщала ему о своем подарке и советовала упрощить фей, чтобы они превратили ее воображаемого козлика в настоящего, на котором можно ездить верхом... И все произошло так, как она рассчитывала. Питер нашел письмо, а феям, конечно, ровно ничего не стоило превратить ее подарок в настоящего козлика...

Таким образом, у Питера Пэна завелся козлик, на котором он теперь каждую ночь раз'езжает по парку, и при этом так увлекательно играет на своей дудочке... И Мамми сдержала обещание и больше не пугала Тони козлом.

Мне передавали, однако, что она скоро стала пугать его другим животным... И пока она не стала большой девочкой, она все приносила в парк игрушки для Питера с письмами, в которых объясняла ему, как надо играть ими. Не она, впрочем, одна это делала.

Давид тоже оставляет в парке подарки для Питера Пэна, и мы нашли прелестное местечко для наших посылок... Если хотите, можем вам даже сказать, где находится наша почтовая контора, только, ради Бога, не спрашивайте в присутствии Портоса,—потому что, если он проню-

хает, где мы оставляем игрушки, Питер Пэн ни одной из них не получит...

Питер Пэн не забыл Мамми, но он опять бодр и весел, скачет на своем козлике или лежит на траве и беззаботно дрыгает ножками... Ему чудесно живется! Однако, у него сохранилось еще смутное воспоминание о том, что он был когда-то человеческим существом, и оттого он особенно ласков с ласточками, прилетающими на остров, потому что ласточки,—это души умерших маленьких детей... Они всегда вьют свои гнезда под крышами домов, где жили, когда были детьми, очень часто влетают через открытые окна в детския, и, быть может, потому Питеру Пэну они кажутся милее других птиц...

А маленький домик? Каждую будничную ночь—то-есть каждую ночь, когда нет бала, феи строят маленький домик для оставшихся на ночь в парке детей. Питер Пэн на своем козлике об'езжает все далекие углы парка и, если находит заблудившегося ребенка, привозит его на козлике в маленький домик... Дети, просыпаясь, с удивлением озираются кругом, и, только выходя из домика, видят, где они провели ночь... Феи строят домик потому, что им приятно строить такую восхитительную игрушку. Питер же об'езжает каждую ночь парк в память о Мамми, и потом он все еще старается делать то, что,

по его представлениям, делают настоящие мальчишки...

Но вы тем не менее не воображайте, что оставаться в парке после полуночи теперь безопасно, благо есть надежный приют. Если вы попадетесь на глаза какой-либо злой фее, она не преминет обидеть вас и причинить вам какую-нибудь неприятность, а если и не увидите никакой феи, то можете погибнуть в темноте от холода и страха, прежде чем Питер найдет вас. Когда он опаздывает и видит, что ничем уже не может помочь заблудившемуся ребенку, он бежит к своей лодке за совком, с которым Мамми научила его обращаться, роет могилу, кладет на нее каменную плиту и на камне выводит инициалы ребенка. Так, по его представлению, поступил бы на его месте настоящий мальчик. Вы заметили, быть может, что в Кенсингтонском парке камушки лежат везде по два в ряд. Питер Пэн всегда хоронит ребят парами, потому что вдвоем все же веселее...

В парке, возле моста, нет ничего трогательнее двух надгробных камней над могилами Вальтера Стефана Мотьюса и Пибби Пелльса. Они находятся на том самом месте, где когда-то проведена была граница между приходом Вестминстерского собора Св. Марии и приходом Паддингтона. Здесь Питер нашел однажды двух малышей, вывалившихся из своих колясочек —

Пибби было тринадцать месяцев, а Вальтеру и того меньше... Они лежат рядышком, и надписи на плитах гласят: *)

В.	и	П. П.
С. М.		1841.

Давид иногда приносит цветы на эти безгрешные могилки.

Но каково родителям, прибегающим утром в парк, найти, вместо дорогой своей девочки или мальчика, могилу и на ней плиту с инициалами незабвенного имени!.. Надо думать, что Питер не очень торопится в несчастных случаях, и не роет, по крайней мере, преждевременных могил...

Ах, лучше, право, гнать от себя такие грустные мысли...

XIX.

Необычайное приключение.

Важное событие в жизни Давида и моей. Он ночевал у меня. Мы много раз говорили об

*) Буквы, в действительности, означают инициалы церковных приходов св. Марии и Паддингтонского.

этом, как о вполне возможной вещи, и, наконец, Мэри согласилась на наши просьбы.

Началось с того, что Давид пришел ко мне в необычайный час, в шесть часов пополудни, с небольшим свертком. Я подумал, что он принес с собою сандвичи, но в пакете оказались принадлежности его ночного туалета. Мы оба были так взволнованы, что в первую минуту у нас и слов не нашлось для приветствия, и мы выражали наши чувства знаками. Давид присел на корточки и, как всегда в минуты сильного возбуждения, стал делать какие-то странные прыжки—он, кажется, перенял их у лягушки,—потом мы оба сделали очень серьезные, важные лица, говорившие ясно и без всяких слов: «Какое необычайное приключение».

Надо было проделать все необходимые приготовления ко сну точно так, как Давид предельвал их каждый вечер дома, и я отчасти, даже недоумевал—почему это событие кажется ему столь необычайным. Но для меня это, действительно, было событие и, конечно, необычайное.

Мы поиграли немного моими медалями, и на этот раз он с деликатностью доброго товарища по ночлету не спрашивал, отчего у меня нет креста королевы Викторини *). Вообще говоря, он очень огорчен, что у меня нет креста

*) Высший орден, дающийся за боевые отличия.

Викторини—ему так нравится статуя этой королевы в Кенсингтонском парке. Он никогда не говорит в парке о том, что у меня нет этого знака отличия, но бросается на каждого мальчугана, осмеливающегося утверждать, что я этого ордена не заслужил.

В двадцать пять минут седьмого я пускаю в ванну теплую воду, и украдкой опрокидываю в столовой рюмку водки, храбрости ради. Затем я говорю:

— Половина седьмого... Маленьким мальчикам пора спать...—Я говорю это деловым тоном, каким говорят с мальчиками, несколько независимыми от воли старших и имеющими возможность вполне располагать собою... Однако, Давиду замечание мое не понравилось. К несказанной моей радости он топнул ножкой и так очаровательно закапризничал, что в награду я разрешил ему играть еще пять минут моей спичечной коробкой. Наибольшее удовольствие для Давида это — бросать на пол зажженные спички... Он, вероятно, представляет себе рай в виде пылающего костра...

Наконец, я кладу руку на его плечо с видом человека, для которого укладывание в постель маленьких детей вполне привычное и немного даже приевшееся занятие, и веду Давида в детскую, еще недавно бывшую только моей спальней. На эту ночь здесь поставлена вторая кро-

вать рядом с моей, но прежде всего, конечно, бросилось нам в глаза необычное украшение на камине: стакан с молоком, на стакане сухарик и верхом на сухарике шоколадка. Нельзя было войти в спальню, не заметив тотчас стакана... Я несколько раз прорепетировал эту сцену до прихода Давида, и все совершилось так, как я ожидал... Давид тотчас заметил стакан с сухариком и шоколадом и запрыгал по-лягушечьи, а я тем временем зажег ночник и поставил его на умывальник...

Давид с пренебрежительной гримаской следил за моими приготовлениями и вдруг в порыве благородной решимости протянул мне свою ножку, будто освершенно отрекался от нее, но я тотчас же понял, что он предлагает мне снять с него башмачки... Я хладнокровно, словно мон руки привыкли к такой работе, снял с него башмачки, потом посадил его к себе на колени и принялся расстегивать его курточку. Это доставляло мне неизъяснимое удовольствие, но я сохранял невозмутимое хладнокровие, пока не увидел его узеньких крохотных подтяжек... Тут уже я почувствовал, что перестаю владеть собою. Но не стану больше перебирать подробностей разоблачения Давида...

Скоро детская погрузилась в полумрак, только в одном углу бледно голубел ночник. Наступила глубокая тишина. Лишь время от вре-

мени чуть слышно скрипела дверь, и я просовывал голову в широкую щель. Как я тихо ни открывал дверь, Давид мгновенно расширял ко мне навстречу свои большие глаза, и каждый раз строил серьезную мину, ясно говорящую: «Какое необычайное приключение!»

— Когда же ты, наконец, уснешь, Давид?— спрашивал я.

— Когда же ты, наконец, ляжешь?— спрашивал он каждый раз в ответ. Он спрашивал шопотом, словно боясь, что стая волков и медведей бросятся на него при звуке его голоса. Когда маленькие мальчики укладываются спать, один только ночник и отделяет их от медведей и волков... Кто этого не знает?

Я опять вернулся к своему креслу перед камином, и, наконец, он уснул, лицом к стене, но я много раз еще подходил к дверям и прислушивался к его дыханию...

Я давно уже лежал в кровати, когда в спальне стало внезапно странно-тихо, и я тотчас догадался, что Давид проснулся. Я лежал, не шевелясь, и после долгих минут ожидания, тихий далекий голосок осторожно прошептал: «Ирэн!»

— Ты спишь сегодня у меня, Давид,— сказал я.—Ты забыл?

— Я забыл,—ответил он с некоторым смущением в голосе.

— Но теперь ты вспоминаешь, что ты пришел ночевать ко мне?—спросил я.

Он помолчал немного и ответил:

— Кажется, да,—и тотчас добавил:—теперь я вспоминаю. Я думал, что он опять уснул, как вдруг он встрепенулся и спросил:

— Оно еще не кончилось?

— Что, Давид?

— Приключение?

— Нет, Давид, еще не кончилось...

Это его, повидимому, взволновало. Я спросил его:

— Ты разве боишься, Давид?

— Нет, чего же мне бояться?—вежливо ответил он, и одеяльце его зашуршало. Я догадался, что он высунул ручку... Я протянул ему свою руку, и он крепко сжал мой указательный палец.

— Тебе чего-то хочется, Давид?

— Чего же?—спросил он с прежней участливостью.—А вы думаете—мне чего-то хочется?

— Ну чего же, Давид? Скажи...

— Мне тесно здесь...—проговорил тихий, тихий голосок.

— Давид, не хочешь ли пойти ко мне в кровать?—предложил я.

— Мама сказала, чтобы я не хотел, пока вы первый не захотите,—пропищал он.

— Да я давно уже этого хочу,—сказал я, и

в тот же миг маленькая беленькая фигурка прыгнула ко мне в кровать. Всю остальную часть ночи он лежал на мне и поперек меня, ножка его то упиралась в спинку кровати, то покоилась на моей подушке, но пальца моего он все время не выпускал из своей ручки, и время от времени, он просыпался и сообщал мне, что он спит со мной. Я плохо спал в эту ночь. Я лежал и думал...

Я думал о маленьком мальчике, который вдруг спрятал лицо в моих коленях, когда я раздевал его...

Я думал о женщине, близкой ему и которой он мог не стесняться...

О маленьком розовом тельце Давида в моей ванне, и как он выскользнул из моих рук, как форель, когда я хотел поймать его.

И о том, как, стоя у открытой двери, я вслушивался в его ровное тихое дыхание; я стоял так долго, что забыл его имя и беззвучно звал его Тимофеем...

XX.

Сопоставление Давида с Портосом.

Но Мэри отравила нам радость. На следующее утро, я отослал Давида домой, и она первым делом осмотрела его костюм и открыла, что

лифчик, застегивающийся сзади, застегнут был спереди. За это я послал ей оскорбительное письмо, которое привожу ниже. В ответ на каждую раздирающую меня выходку Мэри, я отвечаю, обыкновенно, оскорбительным письмом. Раз я снял Давида, повисшим на дереве и послал ей фотографический снимок... Я необычайно изобретателен по части обид, когда дело касается Мэри. Ни одна самодовольная женщина на ее месте, конечно, не стала бы терпеть всех обид, какие я наносу ей...

«Сударыня,—писал я ей,—до меня дошло, что когда вы гуляете с Давидом в Кенсингтонском парке, вы жадно вслушиваетесь в восторженные замечания прохожих о Давиде и о странных костюмах, в которые вы его рядите... Я знаю также, что, хотя вы и делаете вид, будто совершенно равнодушны к тому, что говорят о Давиде, вы, однако, запоминаете каждое слово, сказанное о нем, и каждый взгляд, брошенный на него. Я не могу, конечно, препятствовать вам тешиться и кичиться такими пустяками, но имею возможность наблюдать вашего Давида и днем, и ночью, я решил провести параллель между ним и моим Портосом и показать вам, как эти два существа ведут себя при всех обстоятельствах, как важных, так и неважных... По наружному виду они оба как будто одинаково горды и настойчивы, но как они разно проявляют

свою гордость и свою настойчивость! Давид говорит: «Какая досада!»—и делает то, что от него требуют, а Портос презрительно помахивает хвостом и никакого внимания ни на кого не обращает. И тем не менее, поверьте мне, им восхищаются ничуть не менее, чем вашим Давидом...

Портос несравненно деликатнее вашего Давида. Сын ваш часто предлагает мне спрятаться за деревом, где он должен меня разыскать, и я торчу там и жду, и когда выхожу, наконец, из своей засады, вижу, что он занялся уже другой игрой и совершенно забыл о моем существовании. Тогда как Портос уж не заставил бы меня зря ждать в засаде... Он всегда безошибочно направляется к тому месту, где я прячусь, и всегда меня находит. Сверх того, Давид уже умеет лукавить; и когда ему хочется избавиться почему-либо от вашего присутствия, умеет уже делать вид, что присутствие ваше весьма даже приятно ему.

Портос же в таких случаях, просто протягивает лапу, что означает: «До-свидания»... Бороатым людям он с особой готовностью протягивает лапу (я полагаю, в силу наследственного неодолимого отвращения к козлам),—а они, конечно, толкуют этот жест, как проявление нежнейших к ним чувств, и умиляются...

И смею вас уверить, Портос, благодаря своей

учтивости, больше располагает к себе людей, чем Давид, хотя вы, конечно, станете уверять, что Давид ваш гораздо привлекательнее... Портос к тому же и добродушнее, и мягче Давида...

Давид часто толкает его ногой, и пристаёт к нему точь-в-точь, как маленькие собачки, которые ненавидят его за огромную пасть... И надо видеть, с каким невозмутимым спокойствием Портос слушает их лай... Давид очень неуступчив, и с детьми, которые меньше его ростом и слабее, обращается чрезвычайно пренебрежительно... А Портос, беспощадный к бродягам и нищим, чего только не позволяет детишкам проделывать над собою... Они залезают пальцами в его рот с целью исследовать, что представляет собою другой конец его языка, а он хоть бы что... Маленькие создания в колясочках совершенно равнодушны к приходу и уходу Давида, появление же Портоса каждый раз производит сенсацию... Портоса боятся только сильные и злые, но маленькие беспомощные существа не боятся его ничуть... Его не боятся ни ежи, которых он перетаскивает во рту с места на место, ни воробьи, вытаскивающие солому для своих гнезд из его тюфяка...

О его душевной доброте можно судить хотя бы по этой трогательной истории с кроликом. Мне пришлось жить одно время в местности, где водилось очень много кроликов. Однажды

на прогулке Портос к своему радостному изумлению заметил какое-то маленькое животное, быстро удиравшее от него. Загоревшись внезапным охотничьим пылом, он пустился за ним в погоню—и тотчас, конечно, обогнал кролика сажень на сто и недоумевал—куда же он девался, предмет его погони?.. Наконец, он выбежал на обрыв, откуда крутыми зигзагами шла тропинка вниз. С обрыва он увидал кролика и рассудил, что теперь надо тихонько подкрасться к нему и поймать его... Он повернулся ко мне, выразительно кивнул мне головой и двинулся дальше... Кролик шмыгнул в какую-то яму, но Портос этого не заметил... Он оборачивался, бросал мне многочисленные взгляды, удивлялся и ликовал.

Он был в полной уверенности, что ведет погоню по всем правилам охотничьего искусства.

Я не без тревоги думал о том мгновении, когда он поймает кролика, что, впрочем, казалось мне весьма мало вероятным. И представьте себе, он, в конце концов, поймал его. Как это случилось, я не знаю, но думаю, что это был совсем другой кролик, а не тот, за которым он гнался. Когда я подошел, кролик, испуганный, но невинный, ежился в его лапах. Портос победоносно взглянул на меня и погрузился в глубокое раздумье. Он размышлял, очевидно, о том, как ему теперь поступить со своей добычей.

Кролику же, надо полагать, было немного не по себе в его лапах, и он делал время от времени попытки высвободиться из неудобного положения... Но Портос тотчас же давал ему шлепка своею лапой и опять погружался в раздумье... Я с напряженным вниманием следил за развязкой этой сцены...

Наконец, они, повидимому, пришли к соглашению. Портос посмотрел через плечо на меня, а кролик медленно выскользнул из его лап и тотчас бросился удирать во все лапки... Портос сделал вид, что ищет его, но вы себе представить не можете, какое облегчение доставило ему бегство кролика. А он счел нужным оправдываться передо мной, умоляюще виляя хвостом и, не решаясь взглянуть мне в лицо, упал к моим ногам и застонал. Да, на глазах его блеснули неподдельные слезы. Я был расстроган до глубины души и клятвенно уверял его, что он сделал все, что мог сделать благородный пес, и хотя он отлично знал, что я лгу, он успокоился и опять пришел в хорошее настроение...

Я рассказал эту историю Давиду, взяв с него предварительно обещание, что он не истолкует ее в ущерб достоинству и мужеству Портоса. Об этом, сударыня, я прошу и вас... Должен еще добавить, что Давид при всей своей живости и ловкости, за которые его так возносят, ничему Портоса научить не может, тогда

как, в свою очередь, он многому мог бы научиться у Портоса... Теперь перейду к преимуществам Давида перед Портосом—я их не отрицаю... Первое из них заключается в том, что он не зазнался, и эту девчонку Ирэн,—важно именуемую его няней,—читит не меньше, чем какую-либо знатную даму, и завидует каждому уличному оборвышу, который ловко дерется... У Портоса, наоборот, сословное чувство развито чрезвычайно, и хотя он очень любит бывать на кухне, но нисходит до общества прислуги лишь после долгих и настойчивых зазываний. Я одалживаю его иногда служанкам на нашей улице, жаждущим сниматься вместе с ним, и вот, только что он снова ушел сниматься с одной спесивой хорошенькой горничной, которая, однако, смотрит на него с таким почтением, точно это не пес, а солдат, которому она заплатила целый шиллинг—только бы он изображен был рядом с нею...

В ванне один столько же заслуживает всяческой похвалы, сколько другой порицания... Давид, как я убедился, любит плескаться в ванне и выскальзывает из рук при первой попытке вытащить его из воды. Портос же в ванне стоит недвижимо, с опущенным хвостом и с таким видом, словно его поставили голого на публичное осмеяние.

Портос уступает Давиду и в изобретатель-

ности, потому что играть один он не умеет и не представляет себе даже, как можно совершить прогулку в одиночестве, тогда как Давид целый день только и делает, что изобретает новые игры. Наконец, когда Давид избаловывается в какой-нибудь вине и получает выговор, он в течение некоторого времени этих проступков не повторяет, но придумывает другие. Портос же упорствует в одном и том же: то-есть уносит краденые кости на задний двор, где зарывает их в ямку, и удивляется тому, что я это знаю: ему и в голову не приходит, что нос его испачкан в земле.

Принимая все это во внимание, я допускаю, что у Давида имеются кой-какие преимущества перед Портосом. В некоторых отношениях они вполне стоят друг друга. Так, например, и тот, и другой одинаково любопытны... Когда мне приносят пакеты из магазина, Портос места себе не находит, пока я их не раскрою и такое же волнение, обыкновенно, овладевает и Давидом... Теперь о лекарствах: при виде аптекарской склянки, всякая веселость покидает Портоса, и он начинает смотреть в сторону. Но если я ему скажу, что забыл наполнить склянку, он начинает весело прыгать, словно уже получил право на плитку шоколада. К немыслимому Давида приходится отметить, что он обнаруживает в подобных случаях недоверие и пугливость, весьма худо

рекомендующие известную вам даму, пользующую его во время детских болезней.

Как они относятся к наказаниям? Ирэн—очевидно, она всегда повторяет ваши слова,—недовольна тем, что я даю слишком много воли Давиду и не браню его даже за непочтительные выходки против меня самого... По ее глубокому убеждению, я делаю это лишь затем, чтобы привязать его к себе и вызвать в нем охлаждение к ней... По поводу этого у нас произошло недавно горячее объяснение, при чем мы, забыв о своем достоинстве, наговорили друг другу кучу неприятнейших вещей. Могу лишь сказать, что я не строг с Давидом, потому что не позволяю себе суровых мер и в отношении Портоса, а стараюсь всегда быть одинаково справедливым и ровным в обращении с ними обоими.

Я никогда не позволяю себе поднять руку или возвысить голос на Портоса, потому что его чувствительное сердце не выдержало бы подозрения, будто я недоволен им... Однажды, это было несколько лет тому назад, я ударил его, и я до сих пор не могу забыть, с каким ужасом он взглянул на меня, когда убедился, что это именно я ударил его. И с тех пор я больше его не бил... И когда я доволю его теперь на каком-нибудь недостойном поступке, я беспощадно хлещу тростью мой письменный стол, но и это наказание чрезвычайно расстраивает его. Тогда

как Давида это бичевание письменного стола только приводит в веселое настроение и поощряет на дальнейшие проказы... Очевидно, он далеко не так чувствителен, как Портос...

И если вы мне на это возразите, что Давид избалованный мальчик, и необходимо применять к нему строгие меры, то в ответ вам скажу, что я очень хотел бы знать, какие такие строгости применяются к нему дома... И если вы станете увильживать от прямого ответа, то я напомним вам то, что недавно лишь стало мне известным...

До меня дошло, что Давид, подхватив на улице какое-то непристойное слово, с удовольствием, со смаком повторил его дома. Мать пригрозила ему телесным наказанием, против чего воспротивился испуганный отец. Давид не унимался и на все лады звонко выкрикивал ужасное слово, и отец сурово заговорил о палке, но тогда между ними встала мать... Обещаемое наказание в воображении Давида претворилось, наконец, в какую-то романтическую историю... Отец, разозлившись, в конце концов, отстранил от себя всхлипывавшую мать и выбежал из дома, говоря, что отправляется за палкой. Он взволнованно бродил по улицам и, кусая побелевшие губы, думал о том, что переживает теперь Давид. Когда он вернулся, Давид с сияющим лицом бросился открывать ему дверь и раз-

разился слезами от разочарования, увидев, что отец не принес обещанной палки... И после этого, сударыня, вы меня обвиняете в излишней мягкости и попустительстве... Благодарите Бога, что я не вас сравниваю с моим Портосом.

Заканчивая параллель между вашим сыном и моей собакой, должен еще добавить, что Портос всегда и всячески старается извинить мне свою благодарность за мое расположение к нему, и когда я поднимаю голову, я всегда встречаю его печальные глаза. Посмотрели бы вы, какими преданными влюбленными взорами он глядит на меня... Эта нестерпимая порою печаль в глазах сен-бернара, вы знаете, что это такое? Это мука бессилия сказать хозяину: «Благодарю тебя»... Давид же полагает, что мое расположение к нему есть его неотъемлемое право... И потому я не в силах выбрать его даже, когда сознаю, что должен бы это сделать... Для Давида моя привязанность к нему нечто вполне естественное, и эта его уверенность в праве на мою любовь действует на меня, должен сознаться, неотразимо... Он мил и очарователен, ваш Давид, но мой Портос серьезнее и глубже... Я делаю иногда попытку заглянуть в его душу: опускаюсь подле него на пол, смотрю ему в глаза, и он с покровительственным видом кладет лапу на мое плечо... В такие минуты мы понимаем друг друга без слов...

После параллели, которую я провел между Портосом и Давидом, трудно сказать, кто из них лучше... Поэтому, сударыня, держитесь вы своего мальчишка, а я буду держаться своей собаки и мы оба останемся довольны».

XXI.

Вилльям Петерсон.

Однажды мы сидели втроем у меня. Давид обучал меня языку фей, а Портос, развалившись на диване, слушал. Диван любимое его место в пасмурные дни. Экономка моя держится того мнения, что собаки могут лежать и на полу, и во избежание ее воркотни, я всегда подстилаю Портосу на диване газетные листы...

«Фея мне трибби» — значит на фейном языке: «Дайте мне чашку чаю»... Но это не так просто, как кажется, потому что «р», например, надо выговаривать, как «с»... Я всегда забываю фейные слова, и Давид боится, что если я попаду когда-нибудь в царство фей, то мне, пожалуй, с ними не столкнуться...

— А как бы ты их попросил, чтобы они превратили тебя в куст мальвы?

Давид воображает, что легкость, с какой феи могут обращать вас в любой неодушевленный предмет, самое приятное их качество.

Надо ответить: «Фей меня лукка», — но хотя я слышал это уже много раз, слово «лукка» я, однако, неизменно забываю.

— Мне бы и в голову никогда не пришло просить фей, чтобы они превратили меня во что-нибудь, — говорю я, чтобы отвлечь его внимание от моей забывчивости...

— Если бы я был мальвой, я бы, наверно, тотчас увял...

Но Давид предвидел и такую возможность, и неоднократно наставлял меня, как надо поступать в таких случаях.

— Как только вы почувствуете, что начинаете вянуть, — весело повторяет он опять, — скажите: «Фей меня бола».

«Фей меня бола» — значит «Преврати меня опять в человека»... И почему-то на этот раз мне стало не по себе от наставлений Давида... Я знал, что он и сам до сих пор избегал большой дружбы с феями именно из-за их влечения к постоянным превращениям.

Наконец, я отослал его домой... Я поручил Портосу доставить его домой. Иногда я шел вслед за ними по другой стороне улицы, и делал это, конечно, так, чтобы они меня не видели. Но в этом никакой надобности не было, потому что Давид был в полной безопасности под надзором Портоса. Когда с ними кто-нибудь заговаривал на улице, пес тотчас начинал тихо вор-

чать и оскаливал свои зубы, разжевывавшие кости, как бисквит... Они благополучно, как всегда, дошли до домика Мэри, и Портос, по обыкновению, лаял до тех пор, пока им не открыли дверь. Иногда он входил в дом вместе с Давидом, но на этот раз он распрощался с ним у подъезда. Ничего необычайного в этом не было. Но домой он в этот день не вернулся, не вернулся и на следующий день, ни в последовавшие затем долгие недели и месяцы... Я места себе не находил. У Давида были постоянно красные от слез глаза. Подумать только—мы лишились нашего Портоса! С ним, конечно, случилось что-то необычайное... Я и теперь еще не знаю, что это было... Я знаю лишь, как Давид отнесся к этому событию... Читателю предоставляется вывести из моего рассказа такое заключение, какое он пожелает...

В первый вечер я лелеял еще надежду, что Портос забрел в парк и сторожа заперли его там на ночь, и потому ранним утром я побежал наводить справки. Но никто Портоса не видел. В парке застрял на ночь только какой-то молодой человек, быстро выбежавший, как только открылись ворота парка. О собаке он никому никаких заявлений не делал. Мне оставалось лишь предполагать, что Портос мой пал жертвой какого-нибудь несчастного случая, потому что я знал—вор ни в коем случае не мог бы увести его. Да

и несчастный случай казался мне маловероятным—он был всегда так осмотрителен и осторожен, когда переходил через улицу... Стало быть, жертвой несчастного случая он мог быть лишь при каком-то исключительном стечении обстоятельств...

Давид среди оживленных игр вспоминал вдруг нашу незаменимую утрату, и уходил в сторону, чтобы поплакать... Это была особенность Давида: когда он чувствовал приближение слез, он уходил обыкновенно в сторону, и я чтил эту потребность одиноких излияний и всегда терпеливо ждал, пока он выплачет накопившиеся слезы. Как-никак, он всетаки был маленький мальчик, и быстро переходил от слез к своим веселым играм, но его внезапные приступы грусти о моем дорогом друге, о котором мы никогда не говорили, были мне большой отрадой в эти тяжелые дни...

У нас было одно любимое местечко в парке, так называемая «Скамейка сказок», и однажды мы опять пошли туда, решив в душе не смотреть на то место на траве, где обыкновенно растягивался Портос. Но не удержались и, взглянув в сторону, увидели к немалой нашей досаде на месте Портоса какого-то незнакомого нам человека. Он приветал, увидев нас, и шагнул нам навстречу с такой быстротой, что шаги его ско-

рее похожи были на прыжки... Но мы с напускным равнодушием и тайным негодованием прошли мимо него, и мне послышался позади нас странный стон... Я подумал, что этот странный субъект—какой-нибудь праздный болтун, всячески старающийся завязать разговоры с незнакомцами, чтобы убить время. Но на следующий день, когда мы пришли в парк, он сидел уже не на траве, а на скамье... Я взгляделся в него внимательнее. Это был молодой человек, лет двадцати на вид, с красивым, задумчивым лицом, при коренастом хорошо упитанном теле... Несмотря, однако, на некоторую дородность, он был очень ловок и гибок, и когда ветром снесло вдруг шапочку Давида—одна из фантазий его матери, которая нас обоих очень смущала—молодой незнакомец перескочил через изгородь, не коснувшись ее, и через минуту уже был с шапочкой подле нас. Но отдал он ее Давиду не сразу, а держал ее несколько мгновений в руке с таким видом, будто ждал, что Давид побегит за ним или затеет какую-нибудь игру...

Чтобы завоевать сердце Давида совершенно достаточно умения перескочить через изгородь, не касаясь ее, и мы очень скоро подружились с Вильямом Петерсоном, — так он называл себя.— Он всегда поджидал нас на «Скамейке сказок» и, слушая мои рассказы, заливался и хохотал до слез, как трехлетний малыш... Иногда он спра-

шивал с забавной и странной для его лет гордостью:

— Скажите, ведь вы мне рассказываете эту историю так же, как вы и Давиду ее рассказываете?..

Он был поразительно наивен, верил всяким небылицам, которые я плел перед ним, и с серьезнейшим видом слушал сказки, при которых даже Давид насмешливо щурил глазенки... Когда Давид заявлял, что на самом деле таких вещей никогда не бывает, он растерянно смотрел на меня, и на его умоляющий взгляд я не мог не отвечать, что все эти невероятные вещи, конечно, вполне возможны... Он раздражался только тогда, когда Давид упорствовал в своем скептицизме, но и в такие минуты ограничивался лишь замечанием: «Он говорит, что это правда, значит, это правда»...

Его благоговейное преклонение и льстило мне и тяготило меня в то же время... Он мог целыми часами смотреть на меня в упор своими преданными, часто обведенными красными крутами глазами. И лишь когда я заговорил однажды о Портозе, он отвел глаза в сторону. Он был, очевидно, так растроган, что не мог смотреть мне в лицо... О себе он рассказывал неохотно, и я не расспрашивал о его личной жизни... Но по его неопытности и неосведомленности в житейских делах, я догадывался, что это совершенно

одиноким человек, никому ненужный и спрятливый... Оттого, вероятно, его так и влекло к нам—он искал чьей-нибудь привязанности...

Я отлично помню день, когда странная и дикая мысль впервые вспыхнула в моей голове. Мы были в парке, когда внезапно разразился ливень, и мы все трое убежали ко мне... До этого дня Петерсон ни разу не был в моей квартире.

— Присядьте на диван, м-р Петерсон,—сказал я, придвигая для себя кресло к камину. И вижу—мой Петерсон, прежде чем сесть на диван, расстилает на нем газетные листы.

— Что вы делаете?—спросил я.

Он вздрогнул, пораженный моим вопросом, побледнел и отодвинул от себя газеты.

Давид ничего не заметил, но я тщетно старался владеть собой и поддержать разговор. Я поминутно умолкал, но, чувствуя на себе пристальный, подозрительный взгляд Петерсона, делал над собой усилие и продолжал разговор.

Уф! Вспомнить жутко, какие нелепые это были фантазии... Я тнал их от себя и, желая убедиться, что мне удалось рассеять их, предложил Петерсону отвести Давида домой. Оставшись в комнате один, я расхохотался над самим собой, но тотчас же взял шапку и вышел вслед за ними. Мне вдруг пришла на память странная подробность, почему-то не поразившая меня в пер-

вое мгновение,—Петерсон вышел из дома с Давидом, даже не спросив, где Давид живет...

Я следил за ними издали, с другой стороны улицы. Они шли рядом очень степенно, даже торжественно, и, пока не дошли до дверей Давида, почти ничего примечательного не произошло. Я говорю, почти, хотя кое-что всетаки произошло... Одна дама, часто посещавшая Кенсингтонский парк, узнала Давида и остановилась, чтобы поговорить с ним, но тут Петерсон, очевидно, выкинул что-то странное... Дама бросилась бежать со всех ног... Я не мог понять, что именно он отколол, но если бы он крикнул: «Убью!»—она не могла удирать от него скорее...

Затем он важно довел Давида до дому, и здесь опять повел себя необычайно-странно: вместо того, чтобы позвонить или постучать в дверь, он вззошел на ступени и стал громко кричать «Ав, ав, ав»—до тех пор, пока им не открыли...

Странности эти,—это могли быть, в конце концов, только странности,—однако, не дали мне спать всю ночь, и я до самого утра ворочался с боку на бок...

Я вспоминал другие причуды Петерсона, и они вставали передо мною в новом освещении. Хотя бы уже одна его манера подавать руку. Он здоровался не так, как все люди, а описывал зачем то в воздухе круг рукою и, минуя часто мою руку, тяжело опускал свою прямо мне на

грудь. И его походка! Он не шагал, а как-то ковылял и так неуклюже... Затем, его пылкие проявления благодарности. Он редко уходил без благодарных излияний, которые казались прямо смешными в сопоставлении с тем скромным вниманием, которое я ему уделял. В Кенсингтонском парке он оказывал всегда лужайкам явное предпочтение перед скамейками. Предпочтение, пожалуй, даже мудрое, но опять таки манера садиться была у него необычайная: он вытягивал руки вперед и с шумом валился на землю... Но его причуды заставили меня крепко призадуматься, когда мы завтракали с ним однажды в клубе. Нам подали котлеты, и меня поразило, как он медленно и жеманно ел... Но затем я отошел на минуту узнать, что будет на сладкое, а когда вернулся к нашему столику, я увидал, что кости с тарелки Петерсона исчезли. Лакеи с любопытством смотрели на него...

Давид его очень любил, но свою любовь к нему проявлял тоже довольно странно: так, например, похлопывал его часто по голове. Меня или Ирэн Давид, обыкновенно, звал к себе каким-нибудь восклицанием, Петерсона же всегда свистом, а почему свистом—объяснить не мог...

От этих диких мыслей меня бросало по ночам в холодный пот. Я вспоминал все новые и новые подробности, и они часто томили меня и днем... День тоже имеет свои неприятные мину-

ты, и тягостные мысли овладевали мною в эти именно минуты, когда я брился—в эти десять минут, стоя лицом к лицу с беспощадной действительностью, мы обыкновенно видим все в более ясном свете...

И тогда простосердечный Петерсон казался мне неприятнейшим в мире существом. В его ясных глазах чудилась мне глумливая усмешка... Казалось странным, чтобы человек мог в двадцать лет относиться к людям с таким безмятежным доверием. Он не злословил, не завидовал, не хитрил, и не искал низменных побуждений за благородными человеческими поступками... Я не слышал из его уст ни одного непристойного слова о женщинах... Все это было необычайно, почти сверхъестественно...

Но как, однако, мы, люди, странно созданы! Меня порою смущала вера Петерсона в мою особу, но когда я замечал, что он начинает колебаться в своей вере, я прилагал все усилия, чтобы поддержать ее в нем...

Вы скажете, что это была, вероятно, нетрудная задача... Нет, уверяю, вас, очень трудная... Потому что в отношениях этого юноши к людям постепенно назревала какая-то перемена. Я подхожу теперь к описанию перелома, к тому моменту, когда жизнерадостность и безмятежность внезапно покинули его... Он вдруг утратил всякий вкус к развлечениям, и его еще недавно

спокойные и ясные глаза все чаще и чаще затуманивались сомнением... Он сомневался не во мне, я это чувствовал, но вообще в людях. Устой под воздвигнутым и гордым зданием веры в людей, видимо, стали шататься. Он знакомился и разговаривал с мальчиками в Кенсингтонском парке...

Ах, вы, бедные матери! Тяжело мне вымолвить эти слова—но мыслимо ли сохранить чистоту и невинность сердца человеку, имевшему возможность познакомиться поближе с вашими мальчиками? Он вслушивался также в ваши разговоры о ваших мальчиках, и вера его в людей угасала с каждым днем. У меня не хватало духу отмечать все открытия, которые он делал.

Иногда он вспыхивал от стыда, иногда же слушал, оторопев от изумления, с видом человека, едва сдерживающего вопль отчаяния...

Печальные глаза Петерсона вонзались мне в душу. Бывали дни, когда я не в силах бывал выносить его взгляд, хотя я сам и не чувствовал за собою больших прегрешений. Мы неизменно встречались в Кенсингтонском парке, но просиживали рядом целые часы, не обмениваясь ни единым словом.

В один пасмурный день мы оутились с ним вдвоем на «Скамейке сказок». Давид схватил насморк и остался дома. Мы долго молчали... Наконец, я заговорил... Мы никогда не говорили о

том, что сковывало нам уста, и я хотел только сказать, что пора уходить, так как скоро закроют ворота... Но когда я взглянул на него, у меня сердце упало—никогда еще я не видел его таким подавленным и печальным... Он зажмурил на мгновение глаза, и из них выкатились две тяжелые слезы.

— Вы сами создаете себе бесполезные страдания, Петерсон,—сурово заметил я...—К чему?

Он тоскливо всплеснул руками и бросил на меня печальный взгляд, красноречиво говоривший о беззаветной ко мне привязанности.

— Вы переоценивали меня,—сказал я,—и он опустил голову при этих словах.—Не понимаю, кто мог вам внушить такие преувеличенно-идеалистические представления о людях... Понять не могу... Во всяком случае,—добавил я,—вы могли вынести их только из иного мира, несравненно более прекрасного, нежели тот, в котором мы живем. Зачем вы тогда ушли из этого мира?

Он привстал и тотчас же опять сел.

— Я хотел ближе узнать вас,—медленно ответил он.—Я хотел стать таким, как вы...

— Ну, теперь вы знаете меня... И что же? вам все еще хочется быть таким, как я? Я-то, во всяком случае, никого к себе привязать не могу. Неужели вы не замечали, Петерсон, что даже Давид иронически улыбается, когда ему жется, что за ним никто не наблюдает? Чего

только я не делаю, каких только усилий не прилагаю, чтобы удержать любовь этого мальчика... Но я скоро потеряю ее... Я чувствую, что я и теперь уже не то, чем был для него раньше... Через год, Петерсон, самое большее через два года, Давид и знать меня не захочет...

Милый Петерсон протянул мне свою руку.

— Нет,—сказал я, уклоняясь от его рукопожатия,—я вижу, вы тоже охладели ко мне... Все ко мне охладевают... У меня был один только преданный, верный, вечный друг,—мой Портос, и потому что я и не могу примириться с мыслью о его уплате... Пойдемте, Петерсон.

Он не хотел уходить из парка вместе со мной. Я оставил его на скамье. Отойдя несколько шагов, я оглянулся: он все сидел на скамье, подавленный и растерянный.

Я долго не мог сомкнуть глаз в эту ночь. Я все к чему-то прислушивался и сам не знал, к чему прислушиваюсь и чего жду... Тьма почему-то пугала меня. Я должен был зажечь лампу, и уснул очень поздно.

Разбудил меня рано утром громкий стук в дверь. Слуга о чем-то возбужденно докладывал мне из-за двери, и едва я открыл ее, в комнату впелел мой Портос, о котором я так долго и тяжело тосковал. Слуги рассказывали, что услышали вдруг его лай, но откуда он взялся, никто объяснить не мог... Вид у него был бодрый и

свежий... Когда он облизал и ощупал меня со всех сторон, я заставил его растянуться на полу, прилег подле него и он покровительственно-нежно обнял меня своей лапой, глядя на меня своими старыми влюбленными глазами...

Но Петерсона мы больше не встречали. Предоставляю вам вывести из этого рассказа какие угодно заключения...

XXII.

Клоун Джой.

Умные дети всегда выбирают себе такую мать, которая в девичьи годы была искусной кокеткой и имела много ухаживателей, прежде чем остановила свой выбор на их счастливом папаше... Делают они это потому, что каждый отвергнутый в свое время мамой вздыхатель считает своим долгом позднее баловать ее детей и водить их в цирк, хотя бы раз в год... Дети не всегда могут рассчитывать на то, что папа потащится с ними в цирк, но могут смело рассчитывать на любого из маминых обожателей, которому мама когда-то,—с крохотным батистовым платочком у глаз,—ответила отказом на его пылкие признания... И так трогательно видеть, как эти джентльмены возятся с ребятами своих бывших пассий. Иные заезжают за детьми в эки-

пажах, а другие тащутся из улицы в улицу в омнибусах и даже надевают маски, накладывают картонные носы, только бы скрыть муки, которые причиняют им дети, когда они подросли и уже начинают слишком напоминать вас, жестокая мама.

И я тоже повез Давида в цирк—надеюсь, вы следили внимательно за нитью моих рассуждений... Я-то сам плохо всегда слежу за развитием моей мысли... Давид отправился в цирк, исполненный самых пылких ожиданий... В дверях он остановился. Взгляд его упал на маленькую будку с прибитой к окошечку надписью: «Плата за вход здесь».—Он решил, что это дом Красной Шапочки и вежливо осведомился у кассирши, нельзя ли ему повидать ее? Ему ответили, что она ушла в лес... И это, действительно, так и было. Когда мы вошли в зал, она собирала в лесу хвост для своей бабушки. Она спела прелестную песенку о мальчиках и об их смелых проказах, песенку, весьма польстившую мужскому самолюбию Давида, но, уходя за кусты, забыла захватить с собою хвост. Другие сцены проведены были много слабее, но Давид был в восторге и наслаждался от всей души...

Ушел он, однако, из цирка в слезах. Всю дорогу домой он всхлипывал в темном углу кареты, и когда я делал попытки успокоить его, толкал меня локтем.

Расстроил его клоун, тот именно клоун, на которого я возлагал столько надежд. Давид, не обращая внимания на певца, громко спросил своего соседа, немолодого уже добродушного толстяка, скоро ли, по его мнению, появится Джой?.. И когда Джой вышел, наконец, на сцену, он вскрикнул:

«Здравствуй, Джой!»—и завизжал от удовольствия...

Джой и его отец изображали колбасников, пришедших наниматься в колбасную лавку. В ожидании хозяина, они засовывали в свои карманы колбасы и сосиски, до которых очень падали были, по их собственным словам, их близкие и дальние родственники. Когда хозяин вышел к ним, в лавке было—хоть шаром покати... Но беда эта оказалась легко поправимой. На столе стоял ящик с ручкой, несколько напоминавший по форме мороженицу... В ящик этот Джой с отцом стали накладывать свиные окорока, затем быстро вертеть ручкой... Из другого конца ящика вылезали сосиски и колбасы, круглые, аппетитные, и о том, что они были вкусны, можно было судить по тому, как Джой облизывал пальцы, прикасаясь к ним. Скоро не стало и свиных туш... Но в эту минуту мимо дверей колбасной пробежал маленький, хорошенький фокс-терьер... Джой, не думая долго, схватил собачку за задние лапки, впихнул ее в ящик, повертел ручкой,

и из другого конца вылезли лоснящиеся круглые сосиски...

Это вот и расстроило Давида и заставило его в слезах проследовать к поджидавшему нас экипажу.

Богу известно, что я таким жестоким поступком нисколько не сочувствовал, но Джой объяснил мне потом, как трудно, в сущности, угождать детям и предвидеть, что им понравится и что не понравится. И я должен был согласиться с ним, потому что Давид, которого растрогали злоключения фокс-терьера, хохотал от всей души, когда Джой отрывал ноги городовому...

«Еще раз, еще раз!»—кричал он, когда Джой кончил жестокую операцию.

— Им, бедняжкам, очень жалко городского, и они ревели бы благим матом, если бы я не возбуждал их моим смехом,—говорил мне Джой, не мало удививший меня своей наблюдательностью и психологическим чутьем.

Он уверял, что если бы фокс-терьер смеялся, когда он превращал его в сосиски, дети вторили бы ему от всего сердца.

Отец, мать и няня Давида всеми силами старались вытравить из его памяти тягостное впечатление, уверяли его, что фокс-терьер цел и невредим и, вероятно, живет себе где-нибудь в полное свое удовольствие. Но Давид собственными глазами видел сосиски, изготовленные из

фокс-терьера... Надо было прибегнуть к более убедительным мерам воздействия... Я завез мою визитную карточку клоуна, и он пригласил меня с Давидом к себе на чашку чаю.

— Я не буду смеяться, — предупредил меня Давид, верный своей скорби о фокс-терьере.— Я не буду смеяться, — повторил он, когда мы под'езжали к дому Джоя в Сохо *), и крепко сжал мою руку.

Это был самый обыкновенный дом, но как раз напротив под'езда красовалась колбасная витрина... Вдоль улицы прогуливался городской, опасливо поглядывавший на обе стороны, как будто ожидая нападения. У входа в дом нас встретила просто одетая женщина и сказала нам, что клоун Джой живет во втором этаже. На Давида она внимательно прищурилась, словно уже слышала о нем кое-что... Когда мы поднимались по лестнице, Давид опять проговорил сквозь крепко стиснутые зубы:

— Я не буду смеяться.

Мы постучались в дверь и тотчас услышали:

«Ага, пришли!»...—И Давид задрожал, словно вдруг испугался, что взял на себя непосильную задачу. Мы вошли в комнату, откуда только что прозвучал голос, но там никого не оказалось...

*) Квартал в Лондоне.

Я растерянно взглянул на Давида, а он быстро зажал себе рот рукою.

Это была презабавная комната, и много было в ней смешных вещей, но они ничего страшного и смешного не делали—они чинно ждали Джоя. Были тут и мягкие кресла с уютными просиженными сиденьями, был и стол, и диван... Мы осторожно присели на диван, и с нами ничего не случилось.

Самой примечательной в этой комнате вещью была огромная плетеная корзина, с выглядывавшим из-под крышки ярким чулком и надписью на крышке, гласившей, что Джой самый смешной на земле человек. Давид хотел было вытащить чулок наружу, но он тянул без конца; измерив им шесть раз длину комнаты, он опять обоими кулачками зажал рот.

— Я не смеюсь,—свирепо бросил он мне. И действительно, он ни одного звука не издавал, хотя весь захлебывался и дрожал от подавленного смеха. Мы обратили внимание на фотографическую карточку Джоя, стоявшую на кампее... Джой был снят в обычном платье, которое, очевидно, носил еще до того, как стал клоуном... Можете представить себе, как он был смешон в таком костюме. Но Давид не смеялся...

И вдруг Джой очутился подле нас. Он очутился подле нас так внезапно, словно из-под стола выскочил. Одет он был так же, как и на

представлении в цирке; он сообщил нам потом, что другого платья у него не имеется. Его набеленное, нарумяненное лицо было так забавно, что у Давида заклокотало в горле,—он проглатывал душивший его смех...

Я представил Давида клоуну. Давид церемонно протянул ему руку. Джой руки его не взял, а высунул язык и повел им в одну и в другую сторону... Это было так смешно, что Давиду опять пришлось быстро зажать рот рукою... Джой подумал, что у него зуб болит. Но я объяснил, в чем дело, и Джой сказал:

— О, я заставляю его смеяться.

Вслед за этими словами Джоя между ними произошел такой разговор:

— Нет, не заставите,—упрямо сказал Давид.

— Заставлю!

— Нет, не заставите.

— Нет, заставляю...

— Нет, нет, нет...

— Да, да, да...

— Перестаньте...

— Ну, вот, вот, что я говорил...

Но Давид не смеялся.

Джой заявил, что смех Давида лежит, у него в кармане, и Давид вызывающе предложил ему вытащить оттуда смех... Джой стал обыскивать карманы мальчика и выгребал оттуда самые неожиданные предметы, между прочим, вытащил

утку и пучок моркови... Простак полагал, очевидно, что все балованные шалуны носят в своих карманах такие предметы. В конце концов, Давид, вероятно, всетаки рассмеялся бы, если бы в одном из карманов не оказалась обкусанная колбаса, и вид ее так живо напомнил ему бедного фокс-терьера, что он завыл во весь голос. И Джой тоже расчувствовался, и тоже заплакал, но слезы он вытирал уткой...

Как раз в эту трогательную минуту в комнату вошел, ковыляя на одной ноге, старый клоун, отец Джоя, с полным блюдом сосисок... Его появление, однако, только подлило масла в огонь, так как он сообщил, что это как раз те же самые сосиски, которые мы видели недавно в цирке... Но тут Джоя внезапно осенила какая-то мысль, и нам тотчас же сообщили его волнение. Мы смотрели на него с напряженным нетерпением. Он первым делом сосчитал сосиски, нашел, что двух не хватает, пошарил в рукавах старого клоуна и спокойно вытащил их оттуда. Затем он выбежал из комнаты и вернулся с машинкой...

— Это еще что такое?—удивились мы.

Джой влихнул в машинку все сосиски, повертел ручкой, и с другого конца выскочил фокс-терьер.

Можете представить себе радость Давида...

Он схватил собачонку на руки, и тут мы за-

метили, что к хвостику ее прилипла сосиска. Старый клоун заметил, что, вероятно, слишком много сосисок положено было в машинку, а Джой выразил предположение, что машинка испортилась.. По его мнению, эта сосиска, торчавшая в хвосте фокс-терьера, была ничем иным, как его лаем... Давида это очень расстроило, он понимал, в каком неприятном положении должен чувствовать себя фокс-терьер, у которого лай висит на хвосте... Мы стали обсуждать меры, какими можно было бы воткнуть внутрь фокс-терьера выскочивший наружу лай, но фокс-терьер сам неожиданно разрешил все наши недоумения,—он проглотил сосиску...

Никогда еще в своей жизни Давид не заливался таким смехом, никогда еще он не веселился так безудержно, как в этот день. Он бросился из старого клоуна, опрокидывал его на пол, и так как это очень нравилось клоуну, и он вежливо благодарил, то Давид с возрастающим рвением пробовал над ним свою силу... Джой называл меня и Давида «Сынок» и просил Давида, титуловавшего его «М-р Клоун» — звать его просто Джоем. Старого клоуна, сообщил он нам, звали—«старый Джой», коломбин—Джози, а арлекина—Джойкин...

Мы узнали от него также, к большому нашему огорчению, что старый Джой причиняет ему много хлопот и забот... У него была очень пло-

хая память, и он часто забывал, как надо стоять—на ногах или на голове, и не редко, уже с кровати вылезал головою вниз... За ним необходим был неуспынный присмотр. Самое тягостное было то, что присматривать надо было за ним незаметно для него, он очень самолюбив и чувствителен... Не успел Джой договорить этих слов, как старик перевернулся вверх ногами, но мы делали вид, что ничего не замечаем, и разговаривали о погоде до тех пор, пока он опять стал на ноги...

Джози и Джойкин, в ярко расшитых блестящих юбочках, тоже приглашены были к чаю... Они вошли в комнату, танцуя, и все время приплясывали. Ни с того, ни с сего они заявили, что желают полетать немного... И все время колыхались и дрожали, словно сидели не на стульях, а на пружинах... Давид говорил, что если бы он сильно подул на них, они полетели бы по комнате, как лоскутки бумаги...

По короткой юбочке Джози видно было, что она еще очень молода, и Давид оробел перед нею... Он всегда робел, когда его знакомили с маленькими девочками... Несколько минут он молча стоял перед нею, и сосал свой палец... Она тоже молча сосала палец. Но потом неловкость прошла, они уселись рядышком на диван, держа друг друга за ручки...

Арлекин все время метался по комнате, как

угорь... Давид попросил его попрыгать немного по стене, и он было согласился, потом отказался, сославшись на то, что соседи бывают недовольны его радостью... Давид понял, что прыжки по стене действительно должны беспокоить соседей, но отказ арлекина его всетаки огорчил... Тем временем вода в чайнике вскипела; Джой, разливавший чай, спросил Давида, налить ли ему в молоко капельку чаю—точь-в-точь, как спрашивала всегда и мать Давида... Никого угощения, кроме сосисок, не было, но какая масса сосисок!.. Их были целые сотни, огромные груды, и Джой поминутно срывался с места и, схватив со стола длинную цепь сосисок, прыгал через нее, как через скакалку. Давида учили, что нехорошо быть жадным, и хотя ему очень хотелось отведать сосисок, его смутило, однако, с какой жадностью Джой, старый Джой и даже Джози, смотрели на сосиски, которыми угощали его... Джози, впрочем, обнаружила скоро и более возвышенные чувства — она влюбилась в арлекина, сидевшего против нее, и он влюбился в нее, и оба поглощены были только друг другом и своей любовью...

Но Джой, не обращая ни малейшего внимания на эту трогательную картину, продолжал уплетать сосиски за обе щеки, а старый Джой тоже глотал и запихивал еще в свои карманы... И жадно, и неустанно глотая, они выбегали из

комнаты, и приказывали слуге принести еще сосисок...

Джой залезал рукою и в мою тарелку, и когда я хватал его за руку, конфузился и уверял, что сосиски—его страсть...

Он говорил, что он никогда не мог насытиться ими вдоволь, что он обожал их с самого раннего детства, что это—наследственное—мать его тоже очень любила сосиски... Он рассказывал, что на первую монету, очутившуюся в его руках, купил сосиску, и, вероятно, последним его вожделением тоже будет сосиска, и что он всегда спит с несколькими сосисками под подушкой...

Когда он делал нам эти признания, глаза его, к несчастью, задумчиво остановились на собачонке, возившейся подле машинки, и вдруг в них вспыхнул злоеющий огонек, и рука его судорожно протянулась к фокс-терьеру... Но тут Давид испуганно схватил собачонку одной рукой, а другую выразительно сжал в кулак, и тогда Джой попросил у него извинения, и разразился слезами, и каждую слезу швырял о стенку, на которой она рассыпалась шумными брызгами...

Давид простил его лишь тогда, когда он горячо поклялся, что больше не будет смотреть на собачонку такими ужасными глазами... Джой добавил, однако, что при своей страсти к сосис-

кам, он за себя ручаться не может, и самое лучшее будет, если Давид увезет фокс-терьера с собою... Не трудно представить себе радость Давида. Фокс-терьер, которому он спас жизнь, отныне будет с ним неразлучен... Он едва ве-рил своим ушам, и стал торопить меня с отъездом, боясь, как бы Джой не раздумал...

— Только я прошу вас,—сказал Джой с дрожью в голосе,—звать его моим именем и давать ему каждую субботу сосиску...

Джой показал, что, несмотря на обуревавшую его роковую страсть, он способен подняться до самых возвышенных чувств.

Мы видели его еще раз, уже с улицы. Он дурачливо махал нам языком, а Джози выглядывала из окна, стоя на ладони Джойкина, как бабочка, присевшая на цветок... Старого Джоя мы не видели, мы видели только его ноги, и догадались, что это значит... Это была чудесная компания; они не похожи на остальных людей, но нельзя было не любить их от души...

XXXIII.

Пилькингтон.

Когда дети подрастут, лет до восьми или около того,—они исчезают из Кенсингтонского парка и больше туда не возвращаются... Вы

встречаете их уже взрослыми людьми, важно останавливающими зонтиком извозчика...

Куда деваются девочки — я сказать вам не сумею,—надо думать, что они поступают в какие-нибудь заведения, где их обучают завиваться, но мальчишки отправляются к Пилькинтону. Это такой господин с тросточкой. К Пилькинтону нельзя явиться в штанах маминого изделия, как бы искусно они ни были сделаны. К нему надо явиться уже в настоящих штанах от портного. У него на этот счет строгие правила. В этом и кроется причина его неотразимого обаяния.

Его можно представить себе в виде человека, который прикрепил штаны от настоящего портного, вместо наживы, на удочку, и целыми днями ловит рыбу в Кенсингтонском парке, который для него ничто иное, как пруд, наполненный разного рода мелкой рыбешкой... Отвратительный призрак! Я не знаю, как вы выглядите, но представляю себе вас бородатым, темнлицым, длинным, подвижным и гибким, как угорь... Я уверен, что каждое утро вы жадно прочитываете в газетах списки родившихся мальчиков и злорадно потираете руки. Вы внушаете феям такой страх своим видом, платьем и тростью, что они прячутся от вас. Если бы вы вздумали оставаться в парке в ночные часы, они, наверно, разбежались бы... И только маленькие маль-

чики идут на вашу удочку... Да, опустошитель Кенсингтонского парка, я знаю вас... Впервые услышал я про Пилькинтон от Давида, а Давид, в свою очередь, от Оливера Бейлея.

Этот Оливер Бейлей был одной из самых ярких фигур в Кенсингтонском парке, и без всяких заметных усилий с каждым днем все больше приближался к облику семилетнего мальчика, тогда как Давиду едва-едва можно было дать на вид пять с половиною лет... Я говорю об Оливере в прошедшем времени, потому что он ушел из Кенсингтонского парка—ушел к Пилькинтону;—но имя его еще живо в нашей памяти. Мы часто вспоминаем его доблестные подвиги, между прочим и то, что отец его брился два раза в день. Оливер перенял у отца его светские замашки...

Предметом его честолюбивых мечтаний было крушение у необитаемого острова... Этот остров он каждый вечер упоминал в своих молитвах... Мальчик с такими замыслами не мог, конечно, не пленить воображения Давида... С гордостью, однако, добавляю, что первый шаг к знакомству сделан был Оливером.

Когда Давид в первый раз услышал от одного из приверженцев Оливера про необитаемый остров, он выразил предположение, что надо быть очень хорошим мальчиком для того, чтобы сподобиться счастья потерпеть крушение.

Слова эти переданы были Оливеру и, повидимому, произвели на него сильное впечатление. Он в течение еще некоторого времени старался не поддаваться ему, но, в конце концов, познакомился с Давидом и мрачно попросил его повторить сказанные однажды слова... Результатом их разговора было то, что Оливер заявил в Кенсингтонском парке о своем твердом намерении быть отменно-хорошим мальчиком вплоть до восьмилетнего возраста, а если он до тех пор не потерпит крушения, то будет считать себя вправе стать самым несносным в мире шалуном... Это был отчаянный мальчуган. Когда учительница в фребелевском саду, выстраивая детей на прогулку, предлагала открыть шествие тому, кто больше всех напугал и напроказил,—Оливер всегда первый выступал вперед.

Мальчики скоро подружились... Оливер держал себя с Давидом, как с равным... Они часто ходили по дорожкам парка рука об руку, и Оливер ласково, как добрый старший брат, упрекал его за проступки... Но скоро я по некоторым признакам стал догадываться о каком-то соглашении, состоявшемся между приятелями. Оливеру, повидимому, надоело быть благонравным мальчиком, и он сложил это обязательство на своего друга... Другими словами говоря, Давид взял на себя нелегкую задачу: жить безукоризненным мальчиком до восьми лет, и было ясно,

как день, что при их все возрастающей дружбе один из них не мог потерпеть крушение без другого...

Когда я все это узнал, оказалось уже невозможным рассеять влияние Оливера на Давида... Давид был весь в его власти. Я стал чувствовать себя лишним при их встречах. Оливер даже не старался скрыть, что мое присутствие только тяготит его, и Давид тоже прозрачно давал мне понять, что деликатнее было бы с моей стороны уйти куда-нибудь в сторону с Ирэн и оставить их вдвоем. Мне это не казалось смешным. Меня это удручало, я чувствовал уже горечь нависавшего одиночества... Когда фокс-терьеру не удавалось разными веселыми штуками вызвать у Портоса желание поиграть с ним, он становился на задние лапки и униженно умолял обратить на него внимание... И я также покорно и униженно вымаливал в те дни внимание и ласку... Давид, заметив, что я страдаю, настаивал иногда, чтобы я присаживался к ним, но ясно было, что я ему не нужен.

Я презирал себя за явную слабость. Столько лет вел я из-за этого Давида непрерывную борьбу с Мэри, на стороне которой были, однако, преимущества близкого родства... Неужели я окажусь побежденным в состязании с этим семилетним мальшом?.. Я тщательно проверил мое оружие, вызвал Оливера на поединок и по-

бедил его. Я покорил их обоих, и мы стали неразлучными товарищами...

Добился я этого, конечно, посредством крушения... Начал я с бесхитростной истории, которая должна была длиться каких-нибудь сорок-пятьдесят минут, но, благодаря, неожиданному стечению обстоятельств, она растянулась на целых восемнадцать месяцев... Я рассказал им историю одной швейцарской семьи, которая потерпела крушение в открытом море, и, придя в себя, увидела перед собою цветущие деревья.

Следуя внезапно осенившему меня вдохновению, я превратил эту историю в повесть об Оливере Бейлее и Давиде А... Первое время шла речь о том, что они станут делать в случае крушения, но незаметно мы перешли на прошедшее время и говорили уже о том, что они проделали. Я простаивал многие часы перед витринами книжных магазинов, вчитывался в заглавия книг, потому что в иных заглавиях порою больше содержания, чем в самих книгах... Все мало-мальски значительные герои древней и новейшей литературы терпели у нас крушение, включая, конечно, героев Гомера и героя Потерянного Рая. И мы чинили им всякие препятствия в их попытках пристать к какому-нибудь берегу. Мы грабили их, обдирали, как липки, и пускали их в открытое бурное море на произвол случая.. И все это было только начало...

Тем временем меня самого выбросило на остров. Это устроилось помимо моего вмешательства... Давид догадывался, что я бы не прочь обрести, наконец, верный приют и, сговорившись с Оливером, уладил это дело. Они нашли меня на отмели с большой собакой, которая самоотверженно помогла мне пережить страшную ночь в бушевавшем океане.

Я оказался единственным оставшимся в живых пассажиром потерпевшего крушение судна «Анка Пинк». Я был так обессилен, что им пришлось на руках донести меня до своего жилища. Когда я раскрыл глаза, я увидел себя в уютной хижине, и благодарность моя не знала границ. На одной из прогулок в парке, я рассказал им, какую хитрину они построили. Они не выразили никакого изумления; наоборот, очень гордились своим архитектурским искусством. Они ждали только выражений изумления с моей стороны.

— Рассказать вам о яйцах, которые мы нашли в песке?—спросил Оливер, возвращаясь к своим подвигам, которые они, по моим словам, совершили.

— Конечно...

— Кто нашел их?—спросил Давид, но не так, как спрашивают в ожидании осведомительного ответа, а тоном учителя, спрашивающего урок.

— Их ^{нашел}нашел, — ответил я, — Давид А. — младший из двух юношей.

— А кто убил кабана? — спросил старший из двух юношей.

— Оливер Бейлей, — ответил я.

— И Оливер первый набрал на кокосовое дерево? — быстро вставил Давид.

— Нет, — ответил я, — Давид первый увидел его и тотчас же вскарабкался на него. Это было, очевидно, сосос *pusifera*, стройное дерево с пышной короной из листьев, падающих с такой грацией, которую бессильно воспроизвести человеческое искусство...

— Я это и говорил, — заметил Давид, взмахнув рукой.

— И я тоже это говорил, — настойчиво заявил Оливер.

— Нет, ты не говорил...

— Как не говорил?

— Да замолчи, наконец...

— Ну, ладно, будем слушать дальше...

Оливер бросил на меня умоляющий взгляд.

— Дальше, — начал я, — дело было так: Оливер сказал: «Дорогой товарищ, опасности, которыми мы подвергаемся, несчетны, и лишения, которые мы переносим, могли бы тронуть самые черствые сердца, но ради того, что выпало нам на долю увидеть, я готов подвергнуться и более

жестоким испытаниям, и все же ликовал бы, как эта птичка на ветке»...

— Это я сказал! — закричал Оливер.

— А птичку я застрелил, — тотчас добавил Давид.

— Какую птичку?

— Да эту самую птичку...

— Нет, ты ее не застрелил...

— Как нет?

— Застрелил птичку Давид, — разрешил я спор, — но Оливер по ее многоцветным перьям догадался, что это *Psittacidae*, превосходный вид породы куропаток...

— А ты этого и не знал! — горделиво вставил Оливер.

— Отлично знал.

— Что ты знал?

— Ну, да, что?

— Замолчи, вот и все...

— Давид застрелил птицу, — сказал я, — распознал ее Оливер, а с'ел ее я. Вы помните, как я был голоден?

— Еще бы!

— Я сварил ее, — сказал Оливер.

— Мне подали ее зажаренной, — напомнил я им.

— Я ее зажарил, — сказал Давид.

— Вы накормили меня еще плодами с хлебного дерева. Вы оба одновременно заметили, что

оно родит два раза в году, и кроме того, дает еще очень полезную смолу для смоления лодок...

— Я мою лодку и насмолил...—сказал Давид.

— Я мою еще больше насмолил,—сказал Оливер.

— Когда я поел,—продолжал я,—вы, к приятному моему изумлению, поднесли мне сигару с табачных плантаций.

— Я поднес ее вам,—сказал Оливер.

— Я срезал кончик,—сказал Давид.

— Потом вы дали мне закурить...

— Кто из нас?—вскрикнули они оба.

— Да вы оба,—ответил я.—Я никогда не забуду, как вы выбивали огонь двумя камушками. Тут они покачали головами.

— Этого вы не смогли бы сделать сами...—сказал Давид.

— Вероятно, не смог бы,—согласился я. — Но я знаю, что многие мальчики, потерпевшие крушение, довольно скоро научаются добывать огонь из камней. Покажите мне, как вы это делали...

Они пошушукались в сторонке и отказались показать мне, как они добывали огонь из камней. Мне, очевидно, не все еще полагалось знать.

Давид искренне верил, что однажды был выброшен бурей на необитаемый остров, но

Оливером порою овладевало сомнение. Однако, они горячо уверяли в этом и друг друга и своих товарищей. Когда я рисовал им картины их романтического прошлого, Оливер слушал, сжимая в руке раскрытый нож, а Давид, которому не разрешалось носить при себе нож, сидел опоясанный веревкой, составляющей непременную принадлежность костюма всех пиратов. Ирэн, по обыкновению своему, вмешивалась в разговор, негцдовала на эту веревку и вставляла презрительные замечания о необитаемых островах, к существованию которых относилась с величайшим недоверием. Я откровенно высказывал ей мое презрение. Но Давид, знавший толк в женщинах, сумел таки сломить ее упрямство. Он коварно предложил выбросить ее на необитаемый остров, и, несмотря на то, что я воспротивился этому плану, она тем не менее очутилась на острове и в первый же день прибытия отличилась своими ботаническими познаниями: она узнала *Jussia filamenvosa* до ее узким длинным листьям...

Это послужило для нас своего рода поощрением—мы пригласили на остров и отца и мать Давида... О подобном необычайном событии в своей жизни они не знали, конечно, до тех пор, пока Давид не сообщил им об этом. Пригласили мы их для того собственно, чтобы доставить удовольствие Давиду... У него было очень лю-

бящее сердце, и его беспокоила мысль о том, что его родители тоскуют о нем... И наибольшее удовольствие доставляла Давиду та часть повести, в которой воспроизводилась радость встречи отца и матери с сыном. Сверх того, нам нужна была на острове еще одна женщина, менее вобалмошная, чем Ирэн. Но Мэри пришлось пережить много тревожных дней. Ее постоянно умыкали канибалы, и Давид отважно отбивал ее у них. Он скоро изловчился в этом занятии, и с быстротою оленя прыгал со скалы на скалу с дорогой ношей на руках... Редкая неделя проходила без того, чтобы Давид не убил какого-нибудь людоеда...

Давид все принимал за чистую монету. Оливер говорил мне с его слов, что он глубоко убежден в подлинности всех наших приключений. Я рассказал им, как дикари растатуировали отца Давида, и вскоре я узнал от Оливера, что ночью Давид сошел с кровати и тихонько приподнял одеяло с ног отца, чтобы полюбоваться нарисованными на них птицами и гадами...

За все эти месяцы имя Пилькингтона ни разу не упоминалось, и вам интересно, конечно, узнать, где он пребывал в это время. Ах, друзья мои, он усердно ловил рыбу, и я делал вид, что не замечаю его существования. Я часто улавливал ненавистный плеск его удочки. С мучительной ясностью встает передо мной один

ужасный день: было пасмурно, моросил дождь, — мне казалось, что солнце никогда уже не взойдет для меня... Когда я увидел в парке мальчиков, я тотчас догадался по выражению их лиц, что они собираются сообщить мне какую-то важную новость. Оливер толкнул Давида локтем и отошел на несколько шагов, и тогда Давид торжественно заговорил:

— Оливер уходит к Пилькингтону...

Я тотчас же догадался, что это какая-то школа, и так мало значения придал сообщению Давида, что шутливо бросил Оливеру:

— Надеюсь, Оливер, тебя там не съедят?

Они обменялись озабоченными взглядами и ушли за дерево совещаться. Вскоре Давид опять подошел ко мне и начал с пафосом:

— У него теперь две куртки, две новых сорочки и две пары настоящих штанов...

— Великолечно, Оливер...— сказал я, но тотчас понял, что опять попал пальцем в небо. Мальчики опять пошли за дерево совещаться. Скуп, очевидно, решили, что пришла пора высказать напрямик всю правду, и Давид твердо начал:

— Он просит не называть его больше Оливер...

— А как?

— Бейлей...

— Почему?

— Потому что он поступает к Пилькингтону... И после этой субботы он уже не будет больше играть с нами...

— Отчего же ему нельзя больше играть с нами?

— Он поступает к Пилькингтону...

Тут я догадался уже в чем дело. Мы пошли рядом втроем—Оливер важно шагал, с видом человека, знающего себе цену, и у Давида, казалось мне, тоже был необычайно степенный вид...

— Давид, — сказал я, опустив голову, — и ты тоже поступишь к Пилькингтону?

— Когда мне будет восемь лет, тогда...

— И мне нельзя уже будет тогда называть тебя Давидом, и ты не будешь играть со мною в парке?

Он взглянул на Бейлея, и Бейлей ответным взглядом поддержал в нем решимость.

— О, нет, конечно, нет...—весело ответил он.

И тогда я понял, что он уже не долго будет мне принадлежать. Это удивительно, какую мучительную боль может причинить подобный малыш.

Я выпустил его руку из моей и несколько минут шагал молча. Я придумывал печальный, драматический конец нашей долгой повести...

— Прошло десять лет, — заговорил я опять, — и оба наших героя, превратившиеся в двух безза-

ботных молодых людей, опять поехали на остров, куда прибило их в детстве волнами...

«Мы были одни, когда с нами случилось несчастье?—спросил один из них,—или с нами был еще кто-то, деливший здесь с нами наши злоключения?»—и другой, младший из них, ответил: «С нами жил тут, кажется, еще один человек, с большой собакой... Он, помнится, часто рассказывал мне сказки в Кенсингтонском парке, но я ничего о нем уже не помню... Я даже забыл имя его»...

Этот лирический конец показался скучным Бейлею, и он отбежал от нас в сторону. Давид же шел рядом со мной, и так тихо, что близость бури была для меня несомненной... И вдруг он весь загорелся, бросился ко мне и схватил меня за руку:

— Неправда, неправда!—закричал он в слезах. — Неправда, я тебя никогда не забуду...

Это удивительно, сколько радости может доставить подобный малыш!

— Забудешь, Давид, забудешь,—сказал я.— Но у меня был однажды мальчик... Я знаю, тот никогда бы меня не забыл...

— Тимофей?—быстро спросил он. Он уверен в том, что Тимофей, действительно, существовал когда-то, и очень резанул меня к нему. Он повернулся ко мне спиной и горько заплакал, а я стоял и ждал, пока он выплечет свои слезы... За-

тем, я, разумеется, вымолил у него прощение, и мы с ним объяснились, и он опять был весел и счастлив... Но в моих словах все-таки была правда... Давид не мой сын, и забудет меня... А Тимофей—тот никогда бы меня не забыл...

XXIV.

Варвара.

Судьба тем временем готовила мне еще другой удар...

Хотя мы редко видели теперь Бейлея, наша жизнь на необитаемом острове, тем не менее, шла своим чередом... Бейлея мы встречали через большие промежутки времени, и явного отпечатка влияния Пилькингтона не замечали на нем... Мне казалось даже, что он поглядывает на нас с сожалением и грустью, и как будто чувствует себя не совсем ловко в своих настоящих штанах от портного, словно застывшая где-то яичная скорлупа беспокоит его и мешает свободе его движений. Проходя мимо Давида, он смиривал его недружелюбным взглядом, толкал локтем в бок и называл его «малышом».

Когда Оливер исчез из парка, мы исключили его из нашей повести и прекрасно обходились без него. Скоро мы перенесли нашу деятельность

на материк и стали грозой для туземцев. Однажды Давид спросил меня:

— А Варвара будет жить с нами?

У нас поднимался иногда вопрос о замещении Бейлея каким-нибудь другим малолетним посетителем парка; некоторые из сверстников Давида очень даже добивались этой чести, но имя Варвары я услышал впервые.

— Кто она такая?—спросил я.

— Моя сестра.

Я оторопел от изумления.

— Ее еще нет,—беспечно добавил Давид,—но она скоро будет.

Эта новость была для меня и обидой и горьким разочарованием. Я всегда, правда, подозревал, что эта Мэри А. замышляет самые честолюбивые планы именно тогда, когда делает скромное невзглагольное лицо, но на такую наглость я не считал ее способной.

Я прошел по Широкой аллее, чтобы взглянуть на Ирэн, и ее мина подтвердила мои догадки. Я сел на скамью и стал вспоминать последние встречи с ее мужем... Мы встречались время от времени и иногда даже обедали вдвоем в клубе. И каждый раз мы говорили с ним о Тимофее, и когда в разговоре упоминалось имя Мэри, глаза наши тотчас разбегались в разные стороны... Наступало тягостное молчание, я чувствовал, что он улыбается, и думал с раздражением: какого чор-

та он улыбается?.. Я вспоминал, что в последний раз видел его за обедом в его клубе—он был уже теперь членом какого-то клуба художников, и Мэри так гордилась этим, что даже напечатала это на своих визитных карточках,—и у него был в этот день очень озабоченный вид. Вид человека, скрывающего какую-то преступную тайну.

И когда мне все, наконец, стало совершенно ясно, я громко и злобно рассмеялся над самим собою, потому что как раз в последнее время я стал гораздо лучше относиться к Мэри... Она по-прежнему очень гордилась своим Давидом, и даже ревновала его ко мне в последние недели, но я прощал ей это, так как объяснял ее ревность только материнской любовью... От Давида я узнавал о каких-то несвойственных ей вспышках нежности... Я сам видел, как она украдкой целовала его на улице... И все, что она делала, могло только служить опровержением всякого намека на то, что ей нужно что-нибудь или кто-нибудь, кроме Давида... Как я мог, не будучи женщиной, угадать, что этими необычными страстными проявлениями своей любви к нему она, в сущности, прощалась с ним?

Только представьте себе, читатель, этого чистосердечного мальчика, играющего в полной уверенности, что все идет в доме обычным порядком...

А, между тем, даже игрушки его дышат те-

перь какой-то тайной, грустной тревогой, особенно тот локомотив, который вы подарили ему вчера...

Неужели, Мэри, вы могли ему смотреть прямо в глаза, когда дарили ему эту игрушку?.. Не завидую вам, сударыня, и не хотел бы я быть на вашем месте, теперь, когда он обвивает вашу шею своими нежными ручонками... Из его доверчивых признаний, которыми он безотчетно выдает вас, я понял, что вы делали недавно попытку подготовить его к великой перемене, и вы, я не сомневаюсь, способны уверять меня, что Давид не только очень рад, но и чрезвычайно заинтересован предстоящим событием... Но понял ли он, что это событие означает для него? Вы наверно посовестились дать ему понять, что это подарок, специально для него придуманный. Но, неужели, сударыня, у вас хватает сердца обманывать ребенка?

Представьте себе, что Давид был бы предупрежден о том, что должно случиться, прежде чем он у вас родился? Вы уверены в том, что он согласился бы появиться на свет? Между матерью и ее первенцем существует неписанный договор, и, надо заметить, первенец никогда этого договора не нарушает. Он всегда остается первенцом... И потом, что скажут другие мальчики, когда узнают? Вам до пересудов и толков Кенсингтонского парка дела нет, но Давид не может

же не считаться с ними... Право, сударыня, я полагал, что у вас хватит благородства подождать хотя бы до тех пор, пока ему исполнится восемь лет, и он поступит к Пилькинтону...

Вы воображаете, что ваш муж теперь важная особа, потому что в газетах, которых никто не читает, стали писать о его последних планах и перспективах... Я знаю, что вы купили ему бархатную куртку, и что он снял большую, светлую, удобную мастерскую на Мьюс-Лэйн *), где вы принимаете два раза в месяц, по средам... Времена изменились, но—угодно вам выслушать одну историю? Я хотел бы только показать вам, что я знаю ее...

Года три тому назад на одной выставке выставлена была картина одного художника, от которой автор и его жена были в восторге... Но никто об этой картине не говорил, никто о ней не писал и никто ее не покупал... Художник был удручен, жена его негодовала на нечуткость художественных критиков. И вдруг картину приобрел какой-то любитель, пожелавший почему-то остаться неизвестным. Художник и его жена были в упоении, но больше всего радовало их то, что покупателем этим был не я. Он пришел ко мне, чтобы окончательно в этом убедиться, гордо рассказывал по моим комнатам и говорил о

*) Улица в Лондоне.

том, как дорого художнику сознание, что он понят и признан... Счастливчик.

Но несколько месяцев спустя, роясь зачем-то в затертом обыкновенно чуланчике, он нашел среди всякого хлама и свою картину... И тогда жена, дрожа и плача, во всем ему созналась... Ей было так тяжело видеть, что эта идиотская публика не ценит такого шедевра, у нее сердце разрывалось, глядя на него... Она знала так же хорошо, как и он—ведь, не даром же она прожила с ним бок-о-бок столько лет,—что художник жаждет признания, и потому она решилась купить на свои сбережения картину и спрятала ее в чулан... Художник пришел в бешенство, а потом валялся у ног своей обожаемой жены. Да, это были вы, Мэри. Но, Господи, я, повидимому, слетаю вам мадригал, а это вовсе не входит в мои планы... Я хотел только сказать, что теперь вы можете уже позволить себе все, что вам вздумается... Но, по моему глубокому убеждению, эта затея произвести на свет Варвару не выдерживает никакой критики...

Однако, как быть?.. Я долго над этим размышлял и, наконец, набрел на способ сломить упорство Мэри... Я едва верил в эту счастливую возможность и боялся, что сам же как-нибудь раскрою тайну заговора... Потому что это был заговор против нее...

Я давно уже знал со слов Давида, что Мэри

задумала написать книгу. Дело в том, что у меня имеется небольшой печатный труд о военной тактике, и я готовлю другую более значительную работу на ту же тему, которую, вероятно, никогда не кончу. Я заметил, что Давид очень внимательно присматривается к моим приемам работы, и понял: он, очевидно, хочет научиться писать и помогать своей матери. Возможно, что мысль эта ему самому пришла в голову, но возможно также, что ее внушила ему она... Давид, с своей стороны, конечно, не сомневался в том, что мать сумеет написать книгу... Раз я сумел написать книгу, стало быть, это дело не Бог весть какое трудное... Она сочла также нужным сообщить ему, что не я сам печатаю мои книги, и это, понятно, уронило меня в глазах Давида, так как он восхищался именно печатаньем и потому хвастал мною в Кенсингтонском парке...

— Ну, да... вы ни ящичков, ни букв сами не сделали, — сказал он мне как-то тоном глубоко разочарованного человека.

Дело в том, что все необходимые мне для работы выписки и заметки хранятся у меня в нескольких рядах расположенных по алфавиту ящичков. И когда я делаю новую заметку, касающуюся предмета, название которого начинается с буквы А, я опускаю листок в ящик с буквой А, и так дальше, к величайшему удовольствию Давида, который опускает листки в соответствующие

отделения. Мне пришлось сознаться, что ящички сделал Уиллер и Гибб.

— Но буквы, Давид, я сам сделал, — добавил я.

— Они сделаны хуже, чем ящички, — ответил он.

Я догадался, конечно, что слова эти подсказаны были Давиду Мэри, и, скрывая вспыхнувшую во мне досаду, заметил, как бы между прочим:

— Ты скажи ей, Давид, что за книгу можно взяться лишь, когда ящички полны до краев... Это отобьет у нее охоту писать книгу.

Несколько дней спустя, он сообщил мне, что у нее есть уже один ящик.

— Один ящик, — презрительно проговорил я.

— Она сама сделала его, — горячо возразил он.

О ходе ее работы я получал весьма скудные сведения, отчасти потому, что Давид никогда не находит нужных слов, когда разговор касается практических вещей, но, быть может, Давид и потому еще не давал мне подробных сведений, что не находил во мне сочувствующего слушателя... Но, когда Давид выпалил название книги — «Белая птичка» — мне представилось почему-то, что я книжку эту знаю, что я прочитал ее от первой до последней страницы. Я знал, что белая птичка, это девочка, которую Мэри так страстно хотела иметь. Она такого типа женщина... Но пока у нее еще не было уверенности в осуществлении такого желания, я искренне сочув-

ствовал ей, независимо от суждений о книге, которые я высказывал Давиду. В эти дни Мэри полна была упоенных мечтаний о своей книге, и осеняли ее они, главным образом, утром, когда она еще полудремала в кровати... Но едва она спускала ноги с кровати, все ее мечты разлетались, как стая спутнутых птиц... По словам Давида, это ее очень расстраивало...

О, Мэри, ваши мечты слишком чисты, слишком святы, чтобы кто-нибудь мог видеть их кроме вас одной... Они стыдливо таятся в вашей душе... и выйдут они наружу не книгой, а маленькой Варварой...

Но не эти слова, конечно, я поручил Давиду передать ей.

— Никогда она книги не напишет, — объяснил я Давиду. — На это у нее сил не хватит. Можешь это передать от моего имени.

В течение нескольких месяцев я ничего больше не слышал о честолюбивых замыслах Мэри. Наконец, я как-то спросил Давида и узнал, что она отказалась от мысли о книге... Отчего, — он объяснить не мог, но мне и без его объяснений все было ясно. Вся моя симпатия к Мэри развевалась тогда, как дым, и я стал придумывать, каким образом я мог бы, наконец, окончательно восторжествовать над ней. И придумал. Я решил, даже не говоря об этом Давиду, написать книгу «Белая птичка», которой она написать не

сумела, и затем выпустить ее в свет, как раз к тому времени, когда она родит своего ребенка и будет воображать, что совершила Бог вещь какой подвиг... Была ли кем когда задумана и выполнена такая коварная месть?..

Да, чорт побери, книга приближается к концу... Мы бежим с нею голова в голову и изо всех сил стараемся друг друга обогнать...

С той же быстротой закончил я и историю приключений Давида.

— На этот раз это уже, действительно, конец, — сурово сказал я. Я много раз это повторял.

Она закончилась на побережье Патагонии, куда мы отправились с тем, чтобы застрелить тихохода, самого большого, как известно, из всех зверей, живущих на земле. Величина его, однако, нас нисколько не смущала... Давид, его отец и я сошли на берег и, закулив трубки, направились к нашей пещере. Мэри, одетая, с роскошью восточной принцессы, пела и плясала перед нами. Был чудесный вечер, и мы, дружески болтая, любовались прелестным созданием...

Ночь прошла благополучно — только издали время от времени доносился рев тихохода.

Тем временем ко входу в нашу пещеру медленно приближалась Ирэн, и мы видели, как она наклонилась со своим факелом над акулой, незадолго до того пойманной на гарпун Давидом, и стала ее рассматривать.

Нас клонило ко сну, кругом стояла глубокая убаюкивающая тишина... И вдруг ночь огласилась пронзительным криком. Кричала Ирэн... Она влетела вихрем в пещеру с какими-то вещами в руках—часы, пара сапог и номер газеты, которые нашла в животе акулы... Каково было наше изумление, когда, заглянув в газету, мы прочитали: в Лондоне у Мэри А. родился новый ребенок. Какой странный способ придумал Соломон-Ворон, чтобы сообщить нам такую новость!..

Мы пришли, конечно, в необычайное возбуждение и на следующее же утро отправились в Лондон. Скоро мы увидали перед собою белые скалистые берега Альбиона. Мэри себе места не находила: так велико было ее нетерпение увидеть скорее своего ребенка... Она все время взволнованно металась по палубе.

— И я тоже!—вскрикнул Давид.

Выйдя на берег, мы тотчас же кликнули извозчика.

— Никогда я не забуду, Давид,—сказал я,—волнения твоей матери.

Она поминутно высовывала голову из окна кареты и подгоняла кучера...

И как он стегал свою лошадь!—Наконец, он остановился перед вашим домом, и мать твоя выскочила, избежала на лестницу и заколотила обоими кулаками в дверь.

Давид, увлеченный правдивостью этой картины, возбужденно взвизгнул:

— Ключ у папы!

— Он открыл дверь,—спокойно сказал я,—твоя мать влетела в комнату и через минуту сжимала в своих объятиях своего Веньямина...

Короткая пауза.

— Варвару,—поправил меня Давид.

— Веньямина,—упрямо повторил я.

— Разве это имя девочки?

— Нет, это имя мальчика.

— Мама хочет иметь девочку, — растерянно заметил он.

— Мало ли чего ей хочется,—раздражительно ответил я.—Это будет мальчик... Можешь передать ей это от моего имени...

Бедняжка, он не знал, как ему быть... В его смущении не было и тени эгоистического чувства. Ему лично очень хотелось бы, чтобы это был мальчик, но в данном случае он совершенно не принимал в расчет своих желаний и всей душою желал только осуществления заветной мечты Мэри.

— Варвара,—повторил он умоляющим голосом.

— Веньямин,—твердо отвечал я.

Я долго не сдавался, но дело было летом, и в конце концов, я согласился сыграть с ним партию в крикет. Уговор был такой: если он вы-

играет, это будет девочка, если я выиграю—будет мальчик.

XXV.

Состязание.

Давно, давно уже Кенсингтонский парк уже был свидетелем такой азартной партии, какая состоялась между мною и Давидом. Но если другими страстными игроками руководила корысть или честолюбие, то Давида вдохновляла только мысль о женщине... О женщине. Вернее, о двух женщинах. Зрителей было мало. Время от времени проходили мимо гуляющие, и никто из них, конечно, не подозревал, из-за какой ставки мы боремся... И нам мерещилось, что в нескольких шагах от нас стоит Варвара и взволнованно сбивает хлыстиком головки маргариток после каждого промаха Давида... Да, это было историческое состязание.

Давиду хотелось играть на площадке подле Круглого пруда, где он чувствует себя, как дома, но я тотчас же сообразил, что здесь все преимуществу будут на его стороне... Я настаивал на выборе места, одинаково нового для нас обоих, и после долгих препирательств мы остановились на Фиговой аллее... Палочки запрещено было вбивать здесь в землю, но можно было сделать

метки на деревьях... Мы так и сделали... Место, выбранное нами, было покато, и я с тайной радостью смекнул в одно мгновение, что тут я буду в своей стихии.

Мы бросили жребий—начинать игру надо было мне. Я тщательно осмотрел ворота и приготовился сделать первый удар. Обыкновенно, мы начинаем игру веселыми забавными шутками, но на этот раз я в сосредоточенном молчании бросил первый шар. Давид снял куртку, засучил рукава, стиснул зубы, и я видел, что он намерен с блеском отразить мой первый ход.

Он играет довольно ловко и даже изящно, но иногда делает слишком широкий размах и неминуемо теряет ход... Мы сражались, как львы. Но мало-по-малу стало ясно, что счастье на этот раз на моей стороне. Давид напрягал все свои силы и внимание. Я сделал неожиданного блестящий удар. Давид вздрогнул, смутился и отразил мой ход неловким прыжком. Я насчитал уже двадцать три удара, а ему оставалось выиграть еще двадцать... У него был довольный, бодрый вид, когда я передавал ему палочку, но часто я ощущал влажный след на моей руке, и мною овладело опасение, что Давид может не выиграть игры...

Между тем в самом начале перевес успеха был как-будто на его стороне, и около десяти

ударов он сделал прямо классических. Но тут я сделал ловкий удар.

— Не выходи из круга,—быстро крикнул я. Когда он обернулся и увидал, что опять сделал промах, я испугался выражения его лица. Оно было белее снега. Зато с удовольствием вспоминаю другие моменты этого состязания. Он слишком высоко подбросил в воздухе шар своей лопаткой, и я его шар подхватить не успел.

— Подбрось еще раз,—раздраженно воскликнул я и хотел уже опять метнуть, как вдруг Давид решительно направился ко мне. Он был бледен и взволнован.

— Я—трус,—жалобно проговорил он,—я молился, пока шар был в воздухе.

Он молился о том, чтобы я не успел подхватить шар, а как я уже упоминал, молитва об успехе в игре считалась в Кенсингтонском парке поступком малодушным и недостойным.

Милый Давид! У него были недостатки, существующие всем мальчикам, но у него было врожденное благородство.

— Мы этого хода считать не будем,—серьезно ответил я.

Я полагаю, что нетерпение читателя достигло теперь крайней точки напряжения... Поэтому спешу сообщить, что Давид выиграл партию несколькими блестящими ударами. Когда ясно

стало, что победа за ним, он прижал к сердцу свою лопатку и на мои кислые поздравления ответил истерическим всхлипыванием. Через минуту он уже мчался к своей матери с радостной вестью.

Таким образом и явилась на свет Варвара.

XXVI.

Посвящение.

Только вчера, после обеда, дорогой читатель, ровно три недели после рождения Варвары, я кончил книгу, да и то еще не совсем... Не хватало посвящения, за которое с радостью принимаюсь теперь. Никогда еще я не испытывал такого чувства довольства, как теперь... Мне кажется даже, что я и книгу эту написал для того только, чтобы иметь удовольствие написать посвящение.

«Сударыня, у меня нет никакого желания торжествовать над вами,—язвительно начал я,—но я обнаружил бы самую жалкую нечувствительность к иронии судьбы, если бы не посвятил вам эту книжконку. Потому что своим существованием она обязана вам. В дни ваших честолюбивейших мечтаний вы грезили о том, что напишете сами книгу о Белой птичке. Отчего вы так быстро отказались от своего плана, я не

знаю... Очевидно, вы были тогда заняты чем-то другим... Словом, сударыня, вы предпочли менее рискованную, и более надежную дорогу и удовлетвориться тем, что получили самую птичку... Должен ли я добавить, поднося вам книжку с этим посвящением, что я ее автор. Для вас это, конечно, пустяк, призрак, но для меня—весьма существенная подробность... Примите уверение в том, что подношение это я делаю вам, исполненный самых смиренных христианских чувств. Остаюсь, сударыня, и проч. и проч.»

Написать это письмо была нелегкая работа, потому что дерзость слов должна была ясно сквозить из-под наведенного на них глянца. Я сидел и с удовольствием перечитывал свое послание, когда кто-то, не постучавшись, открыл дверь, и я увидел перед собою маленького мальчика, подталкивавшего вперед дрожащую от смущения даму.

— Папа,—сказал Давид,—это мама.

Познакомив нас, он перенес свое внимание на электрические выключатели и принялся зажигать и гасить свет с такой быстротой, будто считал эти сгнии, напоминавшие вспышки молний, необходимой декорацией для нашей первой встречи. Кажется, на ней была шляпка с голубыми перьями. Может быть, это мало правдоподобно, но я убежден в том, что на ее слишком кокетливой

шляпке были голубые перья, а в руках она держала муфту... Муфта самое опасное оружие в руках женщины, и так как даже простуженные дамы не носят муфт ранней осенью, я тотчас сообразил, что она надела самые красивые свои вещи с целью прельстить меня. По глубокому моему убеждению, она вспомнила в этот день, что носила голубое платье в те дни, когда я следил за нею из окна клуба... Да, эта Мэри интересная особа, хотя и не в моем вкусе... Она была бледнее обыкновенного и улыбалась трогательной улыбкой человека, близкого к обмороку. Все это, конечно, было напускное... Юбки ее мелодично шелестели в моей комнате, но возможно, что это был лишь обман слуха, ибо до этого дня стены мои не слышали шелеста женских юбок... И вместе с тем меня раздражала тягостная мысль о том, что Мэри, при всей своей кажущейся застенчивости, очень хитрая, ловкая женщина...

С такой же быстротой, с какой Давид открывал и закрывал выключатели, я быстро закрыл пропускной бумагой посвящение и холодно сказал:

— Садитесь, пожалуйста...

Но она все стояла, взволнованная, испуганная, и я видел, что она плотно сжала руки в своей муфте... Если бы нам в эту минуту представился какой-нибудь достойный способ бегства, мы оба не преминули бы воспользоваться им...

— Мне не надо было приходить сюда,—нервно проговорила она и замолкла, ожидая ответа. Я кивнул головой.

— Мне страшно было идти сюда, — с несомненной искренностью добавила она.

— И всетаки я пришла,—закончила она сухо.

— Это краткое подобие всей вашей жизни, сударыня,—сказал я тогда и пододвинул ей кресло.

Она заговорила о моих прогулках с Давидом по Кенсингтонскому парку, о всяких пустяках, о которых я не упоминал в этой книге, и моих выходах в отношении ее в те дни, когда я бывал не в духе, и голос ее был так же мягок и нежен, как ее муфта. Она очаровательно произносила «р» и «с», совсем как произносят добрые феи...

— И вот,—говорила она,—вы не хотели прийти ко мне, чтобы выслушать мою благодарность, и я пришла к вам...

И самым нелепым образом выразила мне свою благодарность. Тихо вынула одну руку из своей муфты, и улыбнулась мне влажными глазами.

— Ах, сударыня! — промолвил я в отчаянии, но руки ее не взял.

— Я еще не совсем окрепла,—сказала она.

Это была недостойная хитрость. Она сказала это затем лишь, чтобы я взял ее руку. И я взял ее руку и даже слегка пожал ее. Вслед за этим

я быстро отошел к окну. Мне совестно стало посвящения, которое я написал.

Я отошел к окну, потому что за ее спиной мне легче было бы говорить с нею суровым тоном, и мне сильно захотелось опять уязвить ее чем-нибудь.

— Когда вы кончите, сударыня,—сказал я после долгой паузы,—вы, быть может, разрешите и мне вставить слово?

Я видел только ее затылок, но по выражению лица Давида, отразившего ее быстрый взгляд, брошенный на него, я понял, что мне не удалось уязвить ее. Я даже почувствовал,—как и до того, впрочем, чувствовал,—что хотя она очень взволнована и побаивается меня, однако, ей очень весело...

При таком ее настроении мои попытки уязвить ее, конечно, должны были отскакивать от нее, как горох от стены.

Тогда я взглянул на свои часы и сказал:

— Чем же, сударыня, вы объясняете все мои поступки?

Она не ответила словами, но выпрямилась в своем кресле, и я догадался по ее позе, что она придала своему лицу выражение безупречной скромности...

— Вы ошибаетесь, сударыня,—резко бросил я, —вовсе не потому...

К величайшему моему удовольствию, она вскочила с кресла.

— Я этого никогда не говорила, — горячо, с негодованием начала она. — Мне это никогда и в голову не приходило. — И, помолчав немного, добавила: — Я даже не понимаю, почему вы об этом заговорили...

Я, вероятно, улыбнулся, потому что она быстро отвернулась от меня, опустила в кресло, и опять стала маленькой, маленькой, как прежде...

— Давид, — безжалостно промолвил я, — хочешь видеть, как твоя мать вспыхивает?

— Что это значит?

— Это значит — покраснеть, как самая красная гвоздика.

Давид, тем временем успевший уже испортить звонок, соединявший мой кабинет с людской, бросился к матери.

— Я не покраснела, Давид, — вскрикнула она.

— Полагаю, что вы теперь это сделаете, — сказал я и с деликатностью воспитанного человека отвел глаза в сторону. Что именно произошло затем я поэтому сказать не сумею, но Давид вдруг восторженно воскликнул:

— О, мама, еще раз...

Но она, видимо, не хотела снова покраснеть. Тогда он вскарабкался на каминную решетку, чтобы посмотреть в зеркало, не сумеет ли он сам

это сделать... Мэри повернула ко мне свое скромное личико, на котором я прочел не упрек, а только материнскую нежность. Какое мужское сердце может устоять перед нежностью материнского взгляда?

— Видите, — сказала она с сияющими глазами и доверчивым движением придвинулась ко мне, — я и это могу простить... Вы давно уже заслужили право обижать меня...

У меня, конечно, мгновенно пропала всякая охота обижать ее, и в душе моей шевельнулось новое для меня чувство симпатии к ней.

— А если я даже и подумала это на минуту, — начала она с неуверенной улыбкой.

— Что именно? — безобидно спросил я.

— То, о чем мы говорили, — ответила она в сердцах, но прощая мне и этот вопрос. — Если я и думала это... Ну, что же, это было для меня отрадой пока это длилось, и, ведь, это длилось так недолго. Я давно уже поняла, что вашим вниманием ко мне я обязана чему-то другому...

— Сударыня, — чистосердечно начал я, — я не знаю, чем это было вызвано... Мое участие в вашей судьбе, ведь, было вначале очень незначительно, и если хотите, отчасти даже подсказывалось эгоизмом. Я помню, какое удовольствие мне доставляло когда-то любоваться легкой походкой счастливой молоденькой няни, бегавшей на свидание со своим возлюбленным. Быть люби-

мой—казалось вам тогда таким огромным счастьем, и я часто думал о том, как хорошо было бы, если бы вы могли оттянуть его как можно дольше. Быть может, потому, что я помог однажды вашему счастью, уронив письмо на улице, я понял, как легко, в сущности, быть вам полезным. Должен вам сказать, что я уже лет двадцать, как предпочитаю идти в жизни самыми легкими путями.

Она покачала головой и улыбнулась.

— Верьте моему слову,—сказал я,—никакой другой причины быть не могло...

— Доброе сердце,—проговорила она.

— Быть может, скорее прихоть...—ответил я.

— Или другая женщина,—сказала она.

Я опешил.

— Лет двадцать тому назад,—добавила она глухим, дрожащим голосом, как-будто не зная, что через двадцать лет самые пылкие романы покрываются плесенью.

Клянусь честью солдата, такое объяснение моего внимания к Мэри никогда не приходило мне в голову, но я принял его к сведению, взял ее руку, и поднес ее к губам, как поступил бы на моем месте всякий другой старый холостяк, если бы милая женщина сумела угадать его давно погребенную нежную тайну...

— Да, сударыня, — сказал я, — вы изволили сделать очень тонкое замечание... В нем есть до-

ля правды... Не будем больше говорить об этом...

Но на столе под пропускной бумагой все еще лежало проклятое посвящение. У меня никакого желания не было больше ошарашивать ее им. В эту минуту я даже сочувствовал крушению ее мечты о книжке, на которую она возлагала столько честолюбивых надежд.

— Если бы вы только не были так жадны и честолюбивы, — сказал я с искренним сочувствием, думая о ее недавнем разочаровании в своем писательском таланте.

— Мне хотелось обладать всеми прекраснейшими в мире вещами...—согласилась она с раскаянием в голосе.

— Это было неблагоразумно,—пожурил я ее, и, обращаясь уже к ее рассудку, добавил:—Особенно ваша последняя затея...

— Да, я знаю,—чистосердечно созналась она. И к изумлению моему, торжествующе добавила:—Но я всетаки получила то, чего хотела...

Мой взгляд несколько охладил ее восторг, она понизила тон и продолжала уже, как бы извиняясь,—я был уверен, что она все говорит о своей писательской славе.

— Я знаю, что не заслужила этого, но всетаки получила то, о чем мечтала...

— О, сударыня,—укоризненно воскликнул я.—Да вы подумайте... Что же вы такого сделали?..

И я видел, как она перебирала мысленно все свои достижения—дражайший супруг, сомнительная слава, Давид, Варвара и другие сокровища своего драгоценного ларца.

— А мне кажется, что я все-таки что-то сделала...

— Послушайте, сударыня,—воскликнул я уже с раздражением, — я сейчас же покажу вам одну вещь, о которой вы пламенно мечтали и которой вы не добились...

Вы, конечно, знаете, что я хотел ей показать, и когда я сказал ей про книжку, она с неслыханным бесстыдством воскликнула:

— Книга... Я и забыла совсем об этой книге...

И, подумав немного, добавила:

— Подумаешь, книга!

Если бы она не добавила: «Подумаешь, книга!»—я, быть может, еще пощадил бы ее, но после этого восклицания, я решительно поднял пресс-папье и поднес ей рукопись.

— Это что?—спросила она.

— Это,—гордо ответил я,—«Посвящение»,—и отошел к окну.

И вдруг я услышал за собою какой-то совершенно неожиданный звук... Это был, очевидно, смех, но она с мгновенной быстротой подавила его. Тотчас же подошла ко мне и, глядя на меня широкими ясными глазами, легко дернула меня пальцами за рукав... Давид тоже всегда дергает

меня за рукав при внезапных порывах нежности ко мне.

— Как это характерно для вас,—проговорила она.

— Характерно,—растерянно повторил я.

— И как мило...

— Мило, вы находите?

— Но, ведь, самое существенное получила я, а у вас всего только призрак,—сказала она,—неужели вы этого не понимаете?

Я отлично понимал, что это главный изъясн в моем посвящении, но я никак не предполагал, что она это поймет... Я даже слов не находил для ответа, до того я был удручен.

— Тут еще есть одна ошибка, — продолжала она.

— Простите, сударыня, больше здесь ошибок никаких нет.

— Я никогда не собиралась писать о моей Белой птичке,—сказала она.

Я вежливо-недоверчиво посмотрел на нее, и тогда она ошеломила меня таким заявлением:

— Я хотела написать книгу о вашей Белой птичке. О маленьком мальчике, которого звали Тимофеем...

Она так очаровательно произносила имя «Тимофей»... Мы с Давидом ушли в другую комнату и оставили ее одну с рукописью моей книжки... Когда мы вернулись опять, она преподнесла мне

сюрприз, своей изюжианностью превзошедший все другие неожиданности этого дня...

Она и смеялась и плакала, что, конечно, было в порядке вещей, потому что кто же не стал бы смеяться и плакать над книгой, написанной на такую интересную тему, как мы сами...

— Но, — добавила она, — как вы заблуждаетесь, воображая, что книга эта написана обо мне и о моем сыне... Эта книга о Тимофее...

В первую минуту слова ее показались мне нелепым вздором, но, подумав немного, я согласился в душе, что это, пожалуй, и правда, и сразу присмирел перед этой пронизательной женщиной.

— В конце концов, — сказала она, всплеснув руками (Давид всплескивает руками, когда его осеняет внезапная счастливая догадка), — в конце концов, это все же моя книга...

— Но в ней нет прекрасных мыслей, которые вы бы, вероятно, вложили в нее, — смиренно добавил я.

Она понизила голос, словно не желая, чтобы Давид слышал ее дальнейшие слова:

— Я бы только приписала к этой книге счастливый конец.

Она проговорила это так тихо и робко, что я едва было не растаял от нежности к ней, и вдруг с неожиданной уверенностью добавила:

— Белая птичка должна была бы принести в своем клюве маслянистую ветвь...

Она долго и серьезно говорила мне о великом плане, который взлелеяла и выносила в своем сердце, и дернула меня за рукав, словно испрашивая моего согласия... Я почтительно слушал ее, улыбаясь материнской заботливости этой молоденькой женщины о моей судьбе, и когда она кончила, напомнил ей, что мне уже сорок семь лет...

— Для мужчины это ничего не значит, — нагло ответила она.

— Отцу моему еще не было сорока семи лет, когда он умер, — сказал я, — и, помню, он мне казался уже стариком...

— Но вы, ведь, себе не кажется стариком? — настойчиво продолжала она. — Вы, ведь, наверно еще чувствуете себя совсем-совсем молодым. Когда вы играете в парке с Давидом, разве вы не чувствуете временами приливов молодости... Скажите...

— Мэри А., — вскрикнул я, испугавшись вдруг этой женщины, — я покорнейше прошу не делать сегодня больше никаких открытий...

Но она опять вернулась к прежней теме разговора, которая, очевидно, и привела ее ко мне.

— Я знаю столько милых женщин, — вкрадчиво вставила она.

— Я в этом нисколько не сомневаюсь,—ответил я.—Раз они ваши знакомые, стало быть, наверно, милые женщины...

— Не так, чтобы очень уже молодые,—начала она опять, заминаясь немного,—и, быть может, не очень красивые...

Но она только что прочитала главу о моей молодой любви и пристыженно замолкла, почувствовав, очевидно, что нельзя же, в самом деле, предлагать такие вещи человеку, который когда-то в счастливые дни своей жизни мог остановить свой выбор только на прекраснейшей по всем мире женщине.

Мои мысли тоже обратились к прошлому, и передо мной в последний раз мелькнула в синей мгле соснового леса маленькая соломенная шляпа. С этой страницы мы с Мэри вернулись к действительности.

Я, кажется, говорил вам, читатель, что разговор этот происходил не далее, как вчера.

— Ладно, — сказал я с напускною бодростью,—я приду к вам на чашку чая, и будь, что будет.

Больше ей ничего и не нужно было от меня, но когда она добилась, наконец, того, чего ей хотелось, ее милые искренние глаза затуманились слезами... Она отлично понимала, что нет ничего прекраснее молодой любви...

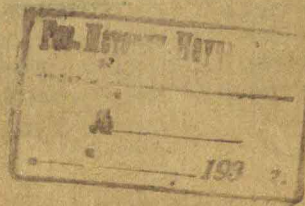
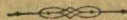
Теперь пришел мой черед утешать ее.

— После двенадцати лет одиночества, Мэри,—сказал я, улыбаясь ее слезам,—человек становится менее требовательным к людям и к жизни... Я накопил в себе большой запас нежности, а подле меня нет никого, на кого я мог бы ее излить... Клянусь вам честью старого солдата, если одна из этих женщин сумеет меня полюбить, я буду очень гордиться этим.

Мэри мой ответ как будто чрезвычайно обрадовал, однако, от моего внимания не ускользнуло и ее удивление. Я и сам себе удивился. Но то, что я говорил—была правда.

Перевод с английского

А. Даманской.



БИБЛИОГРАФИЯ.

Джемс М. Барри.

По-русски имеются только небольшие заметки о рождественской „пантомиме“ (феерии) Барри „Питер Пан“, как например:

Дионис. Father Christmas. „Русское Богатство“ 1904 г. № 1. Также в книге „Английские силуэты“ (Сиб. 1905).—См. еще „Русское Богатство“ 1912 г. № 2.

Swan. Лондонские письма. 1. Рождественские пантомимы. „Студия“ 1912 г. № 15.

Пересказ содержания пантомимы „Питер Пан“ издан в русском переводе: „Книга с картинками о Питере Пэне.“ Перев. с англ. Л. Бубновой. М. 1918.

Имеются еще два перевода одноактной театральной пьесы Барри:

„Возраст актрисы“ Перев. Федоровича. „Библиотека Театра и Искусства“ 1914 г. № 11.

То же („Розалинда“) Перев. Н. Г-ской. Литографированное издание Рассохина. М. 1914.

„Белая птичка“.

Русский перевод этого романа, принадлежащий А. Даманской, был помещен в „Летописи“ 1917 г. №№ 1—6 и вышел отдельно в издании книгоиздательства „Парус“ (Пгр. 1918).



ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие П. Губера	5— 12
I. Мы с Давидом отправляемся в путешествие	13— 23
II. Маленькая няня	23— 36
III. Ее замужество, ее гардероб, ее аппетит и ее обстановка	35— 49
IV. Ночное бодрствование	49— 58
V. Тимофей	59— 71
VI. Удар	71— 76
VII. Заключительное слово о Тимофее	76— 81
VIII. Неосторожный слуга	81— 98
IX. Безнадежный холостяк	98— 109
X. Досужие размышления	109— 111
XI. Бегство с коляской	112— 125
XII. Приятнейший клуб в Лондоне	126— 137
XIII. Прогулка по парку	137— 151
XIV. Питер Пэн	151— 166
XV. Гнездо дрозда	166— 181
XVI. Полночный час	181— 199

XVII. Маленький домик	199—226
XVIII. Козлик Питера Пэна	226—241
XIX. Необычайное приключение	241—247
XX. Сопоставление Давида с Пор- тосом	247—258
XXI. Вильям Петерсон	258—271
XXII. Клоун Джой	271—283
XXIII. Пилькингтон	283—298
XXIV. Варвара	298—310
XXV. Состязание	310—313
XXVI. Посвящение	313—327
Библиография	328

Перевод А. Даманской.

Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ПЕЧАТАЮТСЯ и ГОТОВЯТСЯ к ПЕЧАТИ:

К. Лемонье. „Завод“, роман.
 Уот Уитмэн. „Листья травы“.
 Г. Гейне. Т. VI. „Путевые картины“, ч. II.
 И. Гердер. „Сид“.
 Т. Гофман. „Музыкальные новеллы“.
 Ляо-Чжай. „Лисьи Чары“.
 Гёте. „Фауст“.
 Гольдони. Комедии
 В. Скотт. „Черный карлик“.
 Уэллс. „Невидимка“.
 Иенсен. „Ледник“.
 Саути. Английские народные баллады.
 К. Мейер. Рассказы.
 Дж. Лондон. „Любовь к жизни“
 Гете. „Вертер“.
 Миллер. „Вильгельм Телль“.
 Гюго. „93-й год“.

Байрон. „Беппо“.

— „Бронзовый век“.

— „Дон Жуан“.

— „Каин“.

— „Манфред“.

— „Сарданапал“.

Новалис. „Генрих фон Офтердинген“.

Верхарн. Избранные стихи.

А. Франс. Рассказы.

Диккенс. „Рождественские колокола“.

Б. Шоу. Пьесы.

Золя. „Труд“.

— „Вертеп“

В целях ознакомления русского читателя с наиболее выдающимися произведениями иностранной литературы за последние годы—Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“ приступает к выпуску серии

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Вышло из печати в этой серии:

Ж. Ромэн. „Донгоо-Тонка“ кинематографический роман.

В ближайшее время выйдут:

Э. Спенклер. „100% или история одного патриота“.

П. Бенуа. „Атлантида“, роман.

К. Гамсун. „Силы Земли“, роман.

К. Михаэлис. „Месть графа Сильвена“ пов.

Г. Дж. Уэллс. „Неугасимый огонь“, роман.

Р. Роллан. „Кола Бреньон“, роман.

В. Гетц. „Царство вне пространства“, фантастический роман.

О. Генри. Избранные рассказы.

С. Бржзовский. „Сарево“, роман из эпохи народовольцев.

Г. Верфель. „Виновен убитый“, новеллы.

Б. Мейринг. „Зеленое лицо“, роман.

Д'Аннуцио. „Ноктюрн“, роман.